

A black and white portrait of a man in a military uniform, wearing a peaked cap with an emblem. The name "ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ" is overlaid on the right side of the image. The background is a light, textured surface. There are some autumn leaves scattered around the portrait.

ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

КИНОТЕАТР
ПОВТОРНОГО
ФИЛЬМА

В эту книжку вошли ранние рассказы и повесть Виктора Шендеровича – довольно неожиданные для тех, кто знает это имя только по теле– и радиопрограммам. Будущий сатирик и публицист начинал как автор «традиционной» прозы, по разным причинам практически не публиковавшейся ранее. Так что в каком-то смысле эта книга – дебют.

- [В. Шендерович](#)
 - [Предисловие](#)
 - [В ЧУЖОМ ГОРОДЕ](#)
 - [КРЫСА](#)
 - [ВЕТЕР НАД ПЛАЦЕМ](#)
 - [УВОЛЬНЕНИЕ](#)
 - [ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ](#)
 - [РОКИ](#)
 - [ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА](#)
 - [«ПОРА, БРАТ, ПОРА...»](#)
 - [СЛИВЫ ДЛЯ ДОЧКИ](#)
 - [МЕРОПРИЯТИЕ ПО ЛИНИИ ШЕФСКОГО СЕКТОРА](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [ШЕСТИДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА](#)
 - [ДОРОГА](#)
 - [СИНДРОМ СТЕПАНОВА](#)
 - [КИНОТЕАТР ПОВТОРНОГО ФИЛЬМА](#)
 - [ТАЙМ-АУТ](#)
 - [Глава I. ЧЕТВЕРГ](#)
 - [Глава II. ПЯТНИЦА](#)
 - [Глава III. СУББОТА](#)
 - [Эпилог](#)
-



В. Шендерович

Кинотеатр повторного фильма

Предисловие

Где-то в середине восьмидесятых моя приятельница, проходившая практику в журнале «Дружба народов», попросила меня почитать рукопись некоего молодого автора, который безуспешно пытается пробить броню московских редакций. Вот и в «Дружбу» его принесло, да, впрочем, так и отнесло... А жаль – «симпатичный мальчик из хорошей семьи». Я согласилась, по излишней своей мягкости, и в баре ЦДЛ мне была передана тощая папка. Прямо там, за столиком, я ее открыла, чтобы пробежать глазами первые два-три абзаца и закрыть тему – обычно так, по занятости, я решала вопрос со всеми симпатичными мальчиками и девочками. Я начала читать и... И застряла. Это был рассказ про то, как военнослужащие советской армии от скуки живьем сожгли крысу. Рассказ был замечательным, отстраненным, безнадежным, совершенно непроходным. Прочитав его, хотелось выть. Вообще, после прочтения оставался ожог где-то в области солнечного сплетения.

Я унесла папку домой. Перечитала «Крысу». Прочитала остальные несколько рассказов, повесть «Тайм-аут». У этого симпатичного мальчика из хорошей семьи было своеобразное, несоветское чувство юмора, того сорта, когда, отсмеявшись, хочется повеситься. Эти рассказы будоражили совесть – тот странный орган, который никому из докторов еще не удалось пальпировать.

Мне все это было очень близко.

Так мы познакомились с Виктором Шендеровичем.

В то время он жил, по-видимому, очень стесненно, даже скудно. Помню, как в столовой издательства «Советский писатель» – а мы и туда забрели в моих безуспешных попытках пристроить эту рукопись – он взял один лишь компот за 4 копейки, и стакан на подносе в высокомерном одиночестве подплывал к кассе...

Не знаю, чем он тогда подрабатывал. Рассказы его опубликовать так и не удалось.

...Прошло двадцать лет, как пишут в романах. За это время много чего случилось – кончилась советская власть, я эмигрировала и живу в Иерусалиме, Шендерович стал знаменит, но вовсе не своей прозой.

Вроде пора уже издать эту книгу.

Перед тем, как написать эти несколько фраз, я перечитала рукопись. Ощущения, черт возьми, остались все теми же: настоящая проза, лаконичная исчерпывающая фраза, точные диалоги, юмор, почти незаметно вживленный в ткань, и в конце – отзвук глубокой печали. Что же это? Выходит, дело-то было вовсе не в советской идеологии, не в том, востребованы или не востребованы были ею эти рассказы и повести. А в том, что по-прежнему испытываешь бессилие и страх перед тупой машиной государственного насилия, в том, что человек беспомощен и мал, в том, что он теплый, живой, боится боли и унижений и хочет счастья. А когда это счастье рядом, он не замечает его, не ценит, и лишь оглянувшись назад, слабо различает милые лица и пытается расслышать родные голоса...

Удивительно вот что: те поистине гомеопатические дозы смешного, которые допускает известный сатирик Шендерович на страницы своей прозы. По себе знаю – для этого требуется изрядное мужество. Это все равно, что знаменитому тенору взяться за исполнение баритональной партии. Трудно не потому, что не потянешь диапазона, а потому, что слушатели ждут от тебя присущих тебе фиоритур.

В этом смысле издание книги такой прозы – поступок.

В ЧУЖОМ ГОРОДЕ

Название города ничего не нашептало мне, не кольнуло памяти – ни в филармонической бухгалтерии, где ждал я своих командировочных, ни в вечернем цейтноте вокзала; и когда имя города маячило потом на занавесках фирменного поезда, ничего не дернуло неубитого нерва, ничто не помешало пить чай и жевать вываренное до песочной сухости яйцо.

Спустя сутки я открыл глаза в гостиничном номере и долго лежал в темноте с пересохшим ртом, слушая буханье сердца. Сердце выстукивало имя города. Сна не было.

Я нащупал тапки. Я поплелся в ванную; еще щурясь, прополоскал рот и умылся. Тараканы в панике разбегались от моих ног. На батарее сохли носки. Имя города колотилось изнутри в грудную клетку.

Я зажег в номере свет, сунул в налитую чашку кипятильник и стал ждать, тихонько повторяя за сердцем его одностопный ямб. Я ждал, как ждет рыболов, – имя города извивалось на крючке – и уже знал, что вытащу из памяти какую-то чудовищную рептилию. Когда вода в чашке забурлила, тамтам сердца, стукнув, соскочил на двупалый хорей ненавистной фамилии, тлевшей во мне все эти годы.

Кипяток с минуту плескал через край, прежде чем я выдернул наконец вилку из розетки.

Он был моим хозяином.

Год – от осени до осени – я принадлежал, как вещь, этому коротышке с нечистой кожей и гниловатыми зубами. Он держал в руках мою жизнь и мог делать с ней все, что ни пожелал бы, кроме одного: он не имел права ее уничтожить. Я не подлежал выкупу в этом ломбарде, но имел некую залоговую стоимость – не больше, впрочем, стоимости швейной машинки. Если бы я издох у его сапог, меня бы просто списали, как списывали других, переслав домой в цинковом ящике.

Претензии дирекцией этого ломбарда не принимались.

Год – от осени до осени – он был моим хозяином, гнилозубый старший сержант, уроженец этого города.

Я разодрал пачку чая и сыпанул из нее в кипяток. Заварка рассыпалась; рука, державшая пачку, не слушалась. Не слушалось и сердце, колотившееся так, словно пыталось удрать отсюда вместе со всеми потрохами.

Я вытер о сиденье стула влажные ладони и аккуратно, стараясь успокоиться, растворил в чашке три куска сахара. Снимать заварочную горку не стал – чифирь так чифирь, тем лучше.

– Солдат, ты чем-то недоволен?

Пухлый червяк пальца подлезает под верхнюю пуговицу моей гимнастерки и сгибается стальным крючком. Крючок, душа меня, начинает поворачиваться.

– Не слышу ответа, солдат!

Крючок тянет меня вниз – проклятый запах его тела, меня тошнит от него – улитка уха возникает у моих пересохших губ.

– Не слышу ответа!

Резкий рывок, как рыбу из воды, вырывает меня из строя.

– Чем недоволен, солдат?

Я молчу. Я молчу уже давно, но этого мало. Надо еще что-то сделать с глазами, с лицом... Отработанный сержантский тычок – точно между пуговиц кулаком – вгоняет меня обратно, как ящик в ячейку, вырывает хрип из надорванной груди.

– Встаньте в строй, рядовой. Что вы на ногах не держитесь...

Он говорил правду. На ногах я действительно не держался. Шел третий месяц моего рабства, и меня, собственно, уже не было. Было – тело, пытавшееся выжить среди себе подобных. Тело проваливалось в бесчувствие, едва зубчатая передача службы выбрасывала его на островок верхней койки. И только там, на самом донышке бесчувствия, скулил, спрятавшись за подкладкой сна, кусочек моего «я».

– Надо будет заняться с вами физподготовкой после отбоя, – говорит он, поигрывая связкой каптерных ключей на цепочке. – Ерохин – на месте, остальные – разойдись!

– Ну что, говненыш, – говорит он, когда мы остаемся вдвоем, – ты еще не хочешь удавиться?

Чай подостыл, уже можно было отглотнуть его не обжигаясь. Сладкий горячий чай – что может быть лучше? Коротышка, с кровью выплевывающий свои гнилые зубы – вот что лучше. Черная сталь, холодящая ладонь – и скулящий от ужаса коротышка. Когда открываются в этом дерьмовом городе столы справок?

Я прихлебывал чай и ждал рассвета, но рассвета не было, и я лег, и закрыл глаза, и он вразвалочку вышел из своей каптерки, накручивая взад-вперед цепочку на сардельку указательного пальца. Он учуял мышь, незаменимую для показательной вивисекции, и вот стоит, расставив крепенькие ноги и вентилируя цепочкой густой казарменный воздух, – надсмотрщик, принимающий новую партию черного товара – и моя усмешечка напарывается на пристальный взгляд голубых глаз. «Вам весело, товарищ рядовой?» – «Что вы, нисколько...» – «Что?» – «Нисколько, товарищ... простите, не знаю вашего звания», – я действительно не различал тогда погон! – это простительная вещь, если вдуматься; коротышка не отличал Баха от Глинки, он даже не подозревал об их существовании – и никто не заставлял его чистить за это галюн! «Простите, не знаю вашего звания», – сказал я, и стоявшие рядом хохотнули.

Усмешка досужего путешественника еще лежала на моем лице, когда внимательный прищур его голубых глаз впервые примерил меня к пыточному колесу первого года службы.

... Я живу в сортире. Я пропах мочой, я скребу обломком бритвы проржавевшие писсуары. Все, что было со мной до этого, – Москва, любовь, черное крыло и белая кость «Бехштейна» – было уже не со мной. Я стою у измазанного калом подоконника с обломком бритвы в руке, которой не хватает силы полоснуть по венам. Я не выйду отсюда, пока он не признает сортир убраным, а он не сделает этого до глубокой ночи. Он помочится в отдраенный мной писсуар, буркнет «на сегодня – все» и, шаркая, пошлепает мимо замершего дневального к своей койке, а меня за час до подъема поднимет по его приказу дежурный и, стуча зубами от озноба, я снова отправлюсь в сортир; так старая цирковая лошадь сама идет к опостылевшей тумбе. И будет еще один день, еще поворот на один градус скрипящего колеса службы, и через сколько-то слившихся в одно поворотов – я стою среди ночи, склонившись над раковиной, пытаюсь отмыть терпкий, пропитавший меня насквозь запах, затылком чувствуя взгляд привалившегося к косяку коротышки – и угадываю его голос за мгновенье до того, как он раздастся.

– Ты чего, солдат, – говорит голос, – никак собрался отдыхать?

Отпаренные ноги в войлочных тапках, штрипки кальсон болтаются у пола.

– Так точно, – говорю я, пытаюсь совладать с голосом, сквозь который рвется наружу пекло ненависти.

– Ни хуя себе заявочки, – весело кидает он себе за спину, и там, гоготнув, обнаруживаются еще двое: сержант Глотов и кто-то из «дедов».

– Солдат, – неторопливо копая в дупле спичкой, говорит коротышка, – ты назначен мною бессменным дежурным по сортиру – что не ясно?

– Сортир убран, товарищ старший сержант, – говорю я, не узнавая своего голоса.

Спичка дважды перелетает из угла в угол обметанного прыщами рта. Плотное тело отваливается от косяка и подходит ко мне. Его место в проеме занимают зрители.

– Чего сказал, солдат?

– Сортир убран.

Удар по косточке, по ноге, стертой еще на полевом выходе.

– Ножки вместе поставь, товарищ рядовой! – Ощеренный рот обдает меня смрадом. – И еще раз повтори, а то я не расслышал!

Пузырек холода в животе, лопнув, разливается по телу.

– Сортир убран, – говорит кто-то моими губами, – и сегодня я больше туда не пойду.

Спичка перестает прыгать из угла в угол рта, застывает у бугристого подбородка.

– Хорошо, солдат.

Резкий поворот; мускулистый торс в голубой майке, задев Глотова, исчезает за косяком. Мое тело, ожидая своей судьбы, остается стоять у раковины. Ждать ему недолго.

– Дневальный, подъем третьему взводу!

– Не надо! – Я бросаюсь в коридор. – Не надо, подождите! – но уже орет дурным петухом перепуганный дневальный, и скрипят пружины коек, стряхивая в проходы измученных недосыпом заложников. Тела образуют строй, и я замираю, парализованный неотвратимостью этого построения.

– Третий взвод! – сияя чудовищной своей правотой, кричит вырванным из сна людям коротышка. Предстоящее распирает его. – Рядовой Ерохин, находясь в наряде вне очереди, отказался убирать сортир! – Он делает паузу, давая десяткам воспаленных глаз найти мое тело, съежившееся у шинелей, – там, где застигло его построение.

– Рядовой Ерохин устал, – сочувствующе поясняет коротышка и снова делает паузу, грошовый клоун. – Он перетруился. Поэтому сортир за него уберете вы.

Я отворачиваюсь, я не хочу видеть их, никого, но голос настигает меня, рвет на куски:

– Надо выручать товарища. – Пауза. И не глядя, я вижу, как он набирает в свою квадратную грудь воздух. – Напра-во! Ерохину – отбой, остальные – в сортир – бего-ом... Отставить! По команде «бегом» корпус наклоняется вперед, локти согнутых рук прижаты к бокам... бего-ом... – марш!

Взвод бежит мимо моего тела, стоящего у шинелей, следом, шаркая, проходит коротышка.

– Товарищ старший сержант, – говорю я. Слова комкаются в горле. – Разрешите мне...

– Отбой, солдат, – ледяным голосом обрывает он. – Отбой по полной форме. – Губы брезгливо извиваются у прыщавого подбородка. – Спокойной ночи. Надеюсь, тебя хорошенько отпиздят сегодня. Бегом была команда! – рывкает он вслед взводу и, шаркая, отправляется в бытовку, у входа в которую одобрительно ржут сержант Глотов и тот, второй.

Когда я открыл глаза, спина в голубой майке только что скрылась за дверью, но это была дверь в ванную.

Полоса солнца лежала на стене гостиничного номера.

Тушеная капуста с котлетой неизвестного происхождения, стакан пахнущего посудомойкой чая и два куска хлеба. Уже можно было уходить, а я все сидел за грязноватым буфетным столом. Я ждал девяти – в девять открывалась справочная будка на площади. Я нашел ее на рассвете, пройдя по пустынной улице до памятника, протянувшего в эту пустоту

свою традиционную руку. Коты неспешным шагом переходили проезжую часть, сморщенные афиши вечернего концерта зубрили мою фамилию; над закрытым тиром красовалась эмблема ДОСААФ и лозунг «Учись метко стрелять!».

Без двадцати девять я перестал возить по тарелке остывшую котлету и вышел из гостиницы.

Киоскер пересчитывал газеты, у окошечка уже собирались прохожие; один был совсем небольшого роста и коренастый, но гораздо старше. Я встал в хвост и купил «Правду» – рука киоскера в обрезанной старой перчатке привычным жестом бросила на блюдечко сдачу. Я спрятал двушку в кошелек – может, пригодится. Отойдя, развернул газету и механически пробежал ее по диагонали, читая и не понимая заголовки. Я посмотрел на часы – было без семи девять – аккуратно сложил газету и, сдерживая шаг, двинулся по лучу уже знакомой улицы.

Я не знал, что буду делать, когда чья-то рука протянет мне из окошечка листок с адресом.

Я уже понимал, что не убью его, не сумею даже напугать по-настоящему. Воровать пистолет у постового? Яд из аптеки? Смешно. А смешнее всего – я сам в роли Гамлета. Что же тогда? Но ноги уже привели меня к будке на площади, встали у окошка, за которым копошилась, раскладывая свой утренний пасьянс, седенькая Немезида.

– Имя, отчество...

В тот вечер, объявившись в новенькой парадке с широкой щегольской полосой вдоль погон – погоны ему пришивал и чистил сапоги маленький каптерщик Гацоев, он же носил в коробочке из-под сахара пайку из столовой, за что был милостиво снят с физзарядки – так вот, в тот вечер коротышка построил взвод и, воняя по случаю своего старшинства, велел отныне и до дембеля называть себя по имени-отчеству, каковое и сообщил с неподдельным уважением. Я было подумал, что он пьян, но ошибся. Это было что-то другое.

– Вопросы.

Вопросов нет – мы молчим. Взгляд трезвых, холодно-веселых глаз начинает скользить по шеренге и безошибочно останавливается на мне.

– Рядовой Ерохин!

– Я!

– Жопа моя! – свежо шутит коротышка. – Выйти из строя!

Шаг, шаг, поворот кругом. За что они все презирают меня, почему так услужливо растянуты улыбками рты?

– Рядовой Ерохин, поздравьте меня с получением очередного звания!

– Поздравляю.

– Громче – и я сказал: по имени-отчеству, Ерохин!

Прыщеватое лицо уже не улыбается. Если я не отвечу, он погонит взвод на спортгородок, а ночью мои боевые товарищи опять будут меня бить, вкладывая в удары всю тайную ненависть к коротышке, всё желание свободы, весь страх оказаться на моем месте.

Но это ночью. А сейчас он скомандует мне встать встрой – и начнется ад, отработанный уставной ад, и уже ноет живот вечным пузырьком холода под диафрагмой, и заранее разламывается бессонницей мозг, и покачивается, наливаясь страхом и ненавистью, многоголовая гидра взвода, наваливается, душит – господи, да не все ли равно?

Мои губы выталкивают изо рта проклятый кляп его имени-отчества.

– Встать в строй, – презрительно ссезивает ненавистный голос.

Шаг, шаг, поворот кругом, и чей-то удар сзади кулаком по почкам – товарищеское назидание, памятка на будущее – и ясный, веселый взгляд упертых в меня голубых глаз...

Отчество, год рождения...

– А профессии вы не знаете?

– Нет, – сказал я – и вспомнил его профессию.

– Хорошо, – сказала киоскерша. – Подойдите минут через пятнадцать.

Демобилизовался он в школу милиции – с рекомендацией от командира полка и партбилетом в кармане парадки. За неделю до чего присвоил себе мой перочинный ножик, объявив его холодным оружием. Теперь он, наверное, старлей. Обаятельный такой старший лейтенант милиции. Картинка с выставки. Подлечил зубы, женился; жена симпатичная, пухленькая – он любил пухленьких. Интересно, бьет ли он ее?

Я сидел на скамейке у пересохшего фонтана и ждал. Развернутая газета бесцельно маячила перед глазами. Прошло не больше пяти минут. «Пять минут, пол в проходе натерт – время пошло!» Прыщавая скотина; как будто время может останавливаться! Я приеду к нему после концерта, позвоню в дверь. Шарканье за дверью. «Кто?» – «Телеграмма». Звяканье цепочки; его пухленькая жена в халате, недоуменный взгляд; молча отодвигаю ее и прохожу в комнату: «Здравствуй». – Пауза. – «Не узнаешь?» – Молчит, сопит. – «Ну, вспоминай: семьдесят девятый год, гарнизон Антипи́ха, – ну!» – Пауза, глубокая, тяжелая пауза. – «Фамилия Ерохин тебе ничего не говорит?» – «Ерохин?» – Капли пота на прыщавом лице; взгляд на жену, застывшую в дверях спальни; он поражен в самую гниловатую сердцевину своей души. «Что тебе надо?...» – «Слушай, старшина, или кто ты там теперь есть: я хочу видеть твою мать; она жива, надеюсь; я хочу ей сказать, что она родила гниду, мразь, какой свет не видывал». – «Сволочь», – хрипит он и хватает меня за лацканы – и тогда я беру его за лицо и под визг пухленькой жены несколько раз бью затылком об стену...

В детстве надо заниматься боксом, а не ходить на сольфеджио.

Боксом занимался он, а не я – у него и в каптерке висели перчатки; он не станет слушать моих монологов, и капли пота не выступят на прыщавом лице – он просто ударит меня под дых, как тогда в наряде по столовой – ему почему-то не понравился мой взгляд – я хватаю ртом тяжелые испарения варочного зала, кулем валюсь на ухабистый, мокрый цементный пол и не могу подняться; в мареве у самого лица вырастают офицерские сапоги.

– В чем дело, сержант?

– Да заебал он меня, товарищ прапорщик! – гремит, перекрывая грохот посудомойки, коротышкин дискант. – Служить не хочет, все шлангом прикидывается...

– Подъем, солдат! – командует прапорщик Совенко.

– Я не могу, – говорю я, ловя ушедшее дыхание. – Он меня ударил, – говорю я, поднимаясь.

– Кто тебя ударил, солдат?! – орет коротышка. – Раськов, Касимов – ко мне!

Топот ног по лужам на цементе.

– Я его бил?

– Нет, – говорит Раськов.

– Нет, – говорит Касимов.

Оба в мокрых, черных от грязи комбезах, серые от недосыпа – оба не смотрят на меня.

– Не надо залупаться, солдат, – по-отечески советует Совенко, и, нагнувшись, выносит свои два метра из варочного зала.

– Раськов, Касимов – к котлам!

Чавканье ног по лужам на цементе. Мы снова одни. Он берет меня за ворот гимнастерки и несильно бьет костяшками пальцев в подбородок.

– Застегнитесь, рядовой. – Пауза. – Объявляю вам наряд вне очереди за неряшливый внешний вид.

Он поворачивается и выходит, цокая подковами. Я стою в варочном зале, среди чада и грохота котлов. Пар застилает глаза, щиплет в ноздрях. Я плачу...

Сердце спотыкалось, заголовки черными пятнами плыли по слепящим полосам. Я отбросил газету– страница, шелестя, сползла со скамейки и легла на землю. Я встал и наугад пошел мимо мертвого фонтана, бесповоротно оставляя за спиной сквер и будку с оплаченной адресной квитанцией. Я шел сквозь муравейник незнакомого города в свое гостиничное убежище; сердце прыгало и сжималось от страха. Из-за любого поворота мог выйти коротышка с презрительным прищуром узнающих глаз, в любую секунду мог окликнуть меня резкий, проникающий под кожу голос – и я вытянулся бы среди улицы, собакой лег бы у его мускулистых ног.

Я опоздал со сведением счетов.

Тухлый кубик рабства навсегда растворился в крови.

1990

Дивизионный хлебозавод находился в стороне от остальных полков гарнизона. Налево от калитки был контрольно-пропускной пункт, но туда никто не шел. Шли прямо – через дорогу, в увитом колючей проволокой заборе была выломана доска. Ее прибивали и тут же выламывали снова. Шли и направо – там через пару минут забор кончился и начиналась самоволка. Рядом с гарнизоном стоял поселок, где жила (а может, живет и сейчас) подруга всех военнослужащих, рыжая Люська.

Но речь не о ней.

– Пора, – сказал старшина Кузин, припечатал кружку к настилу с выпечкой и поднялся.

Жмурясь от слепящего холодного солнца, они выскочили из подсобки и сгруппировались у пекарни, озирая фронт работ.

– Отслужила палаточка, – ностальгически высказался Глиста. (Мама называла его Володей, но в армии имя не прижилось.)

Палатка-пекарня была с одноэтажный дом. Прожженный верх подпирали пыльные столбы света. Через две минуты, выбитая сержантской ногой, упала последняя штанга, и палатка тяжело опустилась на землю.

– Л-ловко мы ее, да?

Рядовой Парамонов захопотал рябоватым лицом, пытаясь улыбнуться всем сразу. Хмурый Шапкин внимательно посмотрел на салагу, Григорьев сплюнул.

– Вперед давай, – выразил общую старослужащую мысль эмоциональный Ахмед. – Парамон гребаный.

Через полчаса старая палатка уже лежала за складом, готовая к списанию, а огромную печь дюжие пекари матюками закатили на пригорок и, обложив колеса кирпичами, уселись на пригреве покурить. Своей очереди теперь дожидались гнилые доски настила и баки из-под воды.

Солнце разогревалось над сопками.

– Значит так, Ахмед. – Старшина Кузин соскочил с печки и прошелся по двору, разминая суставы. – Ты, значит, рули тут, и чтобы к обеду было чисто.

За складом стояла ржавая койка с матрасом, и Кузин лег на нее, укрывшись чьей-то шинелью. Прикрыв веки, он думал о том, что до приказа – считанные дни, а до дембеля – никак не больше месяца; что полковник обещал отпустить первым спецрейсом, и теперь главное, чтобы не сунул палки в колеса капитан Крамарь. С Крамарем Кузин был на ножах еще с осени, когда штабист заказал себе на праздник лососину, а Кузин, на том складе сим-симом сидевший, не дал. Не было уже в природе той лососины: до капитана на складе порыбачили прапора.

Между тем у палатки что-то происходило. Приподнявшись, старшина увидел, как застыл с доской в руках Парамонов. Глядя вниз, сидел на корточках Григорьев, а рядом гоготал Ахмед.

– Гей, Игорь, давай сюда! – Ахмед смеялся, и лицо его светилось радостью бытия. – Скажи Яну – у нас абед мясо будет!

Влажная земля под настилом была источена мышами, и тут же, отвесно, уходила вниз шахта крысиного хода. Кузин откинул шинель и подошел: события такого масштаба редко случались за оградой хлебозавода.

Личный состав собрался на военный совет. Район предстоящих действий подвергся

разведке палкой, но до крысы добраться не удалось.

– М-может, нет ее там? – В голосе Парамонова звучали тревожные нотки; это была тревога за общее дело.

– Куда на хер денется! – отрезал Григорьев.

Помолчали. Глиста поднял вверх грязный палец:

– Ахмед! Я придумал...

Ахмед не поверил и посмотрел на Глисту как бы свысока. Но тот продолжал сиять:

– Ребята! Надо залить ее водой!

Генералитет оживился. Шапкин просветлел, Кузин самолично похлопал Глисту по плечу, Ахмед восхищенно выругался. Мат в его устах звучал заклинанием; смысла произносимого он не понимал: говорил, как научили.

Парамонов побежал за водой, следом заторопился длинный как жердь автор идеи.

Из-под ящика выскочила мышка, заметалась пинг-понговым шариком и была затоптана. Этот боевой успех не должен был стать последним: на территорию дивизионного хлебозавода вступил его начальник, лейтенант Плещеев. Лицо его, раз и навсегда сложившись в брезгливую гримасу, ничего более с тех пор не выражало.

– Вот, товарищ лейтенант. Крыса, – доложил старшина, и в голосе его прозвучала озабоченность антисанитарным элементом, проникшим на территорию части. Круг раздвинулся, и Плещеев присел на корточки перед дырой. Посидев так с полминуты, он оглядел присутствующих, и стало ясно, что против крысы теперь не только количество, но и качество.

– Несите воду, – приказал лейтенант.

– Послали уже, – бестактно ляпнул Шапкин. Из-за угла показалась нескладная фигура рядового Парамонова. Руку оттягивало ведро.

– Быстрее давай, Парамон гребаный! – Ахмеда захлестывал азарт. Лейтенанта здесь давно никто не стеснялся. Парамонов ковылял, виновато улыбаясь; у самого финиша его, с полупустым ведром, обошел Глиста.

– Хитер ты, парень, – отметил внимательный старшина.

– Так я чего, Игорь? Ведь хватит воды-то. Не хватит – еще принесу.

Он еще что-то бормотал, но Кузину было не до Глисты – он организовывал засаду.

Минуту спустя Парамонов начал затапливать крысиное метро.

Крыса уже давно чувствовала беду и не ждала ничего хорошего от света, проникшего в ее ходы. Когда свет обрушился на нее водой, крыса поняла, что наверху враг, и ринулась навстречу, потому что ничего и никогда не боялась.

Крик торжества потряс территорию хлебозавода.

Огромная крыса, оскалившись, сидела на дне высокой металлической посуды – мокрая, сильная, обреченная. На крик из палатки, вытирая руки об уже коричневую бельевую рубашку, вышел повар Ян, он же рядовой Лаукштейн. Постоял и, не сказав ни слова, нырнул обратно.

Лейтенант Плещеев смотрел на клацающее зубами, подпрыгивающее животное. Он боялся крысу. Ему было неприятно, что она так хочет жить.

– Кузин, – сказал он, отходя, – после обеда всем оставаться тут.

И калитка запела, провожая лейтенанта.

Спустя несколько минут крыса перестала бросаться на стенки ведра и, задрав морду к небу, застучала зубами. Там, наверху, решалась ее судьба.

Хлебозаводу хотелось зрелищ.

Суд велся без различия чинов. Крысиной смерти надлежало быть максимально мучительной, и перед этой задачей меркли сословные различия.

– Ут-топим, реб-бят, а? Пусть з-захлебнется, – предложил Парамонов. Предложение было односложно забраковано Шапкиным. Он был молчун, и слово его, простое и недлинное, ценилось. Забраковали расстрел – для этого надо было снова звать лейтенанта. Предложение Григорьева крысу повесить было отвергнуто как предприятие чрезмерно затейливое и с неясным исходом.

Тут Ахмед, все это время громко восхищавшийся зверюгой и тыкавший ей в морду прутом, поднял голову к Кузину, стоявшему поодаль, и, блеснув улыбкой, сказал:

– Жечь.

Приговор был одобрен радостным матерком. Григорьев сам пошел за соляжкой. Крысу обильно полили горючим, и Кузин бросил Парамонову:

– Бегом за Яном.

Парамонов бросился к палатке, но вылез из нее один.

– Игорек. – Виноватая улыбка приросла к лицу. – Он не хочет. Говорит: работы много...

– Иди, скажи: я приказал, – тихо проговорил Кузин.

Ахмед выразился в том смысле, что если не хочет, то и не надо, а крыса ждет. Шапкин парировал, что, мол, ничего подобного, подождет. В паузе Григорьев высказался по национальному вопросу, хотя Лаукштейн был латыш.

Тут из палатки вышел счастливый Парамонов, а за ним и повар-индивидуалист. Пальцы нервно застегивали пуговицу у воротника. Кузин дождался пуговицы и разрешил:

– Давай, Ахмед.

Крыса уже не стучала зубами, а, задрав морду, издавала жалкий и неприятный скрежет. Казалось, она все понимает. Ахмед чиркнул спичкой и дал ей разгореться.

Крыса умерла не сразу. Вываленная из посуды, она еще пробовала ползти, но заваливалась набок, судорожно открывая пасть. Хлебозаводская дворняга, притащенная Ахмедом для поединка с калекой, упиралась и выла от страха.

Вскоре в палатку, где яростно скреб картошку Лаукштейн, молча вошел Шапкин. Он уселся на настил, заваленный серыми кирпичами хлеба, и начал крутить ручку транзистора. Он делал это целыми днями, а на ночь уносил транзистор с собой, в распоряжение хоззвода. Лежа в душной темноте, он курил сигарету за сигаретой, и светящаяся переключинка полночи ползала по стеклянной панели.

Григорьев метал нож в ворота склада, раз за разом всаживая в дерево тяжелую сталь. Душу его сосала ненависть, и быстрая смерть крысы не утолила ее.

Парамонов оттаскивал в сторону гнилые доски. Нежданный праздник закончился; впереди лежала серая дорога службы, разделенная светлыми вешками завтраков, обедов, ужинов и отбоев.

Глиста укатывал к свалке ржавые баки из-под воды. Его подташнивало от увиденного. Он презирал себя и тайно ненавидел всех, с кем свела его судьба на огороженном пятачке между сопок.

Лейтенант Плещеев, взяв ежедневную дозу, лежал в своем блочно-панельном однокомнатном убежище, презрительно рассматривая обои. Он хотел стать старшим лейтенантом – и бабу.

Старшина Кузин дремал на койке за складом. Его босые ноги укрывала шинель. Приближался обед. Солнце припекало стенку, исцарапанную датами и названиями городов. До приказа оставались считанные дни, а до дембеля – самое большее месяц, потому что

подполковник Градов обещал отпустить первым спецрейсом...

А крысу Ахмед, попинав для верности носком сапога, вынес, держа за хвост, и положил на дорогу, потому что был веселый человек.

1983

ВЕТЕР НАД ПЛАЦЕМ

Ордена Ленина Забайкальскому военному округу посвящается

Теперь уже трудно сказать, кто первый заметил, что с осин под ноги марширующим посыпались желтые листья. Ходить листья не мешали, но данная пастораль не имела отношения к занятиям строевой подготовкой.

Командир полка отдал приказ, и вторая рота, вооружившись метлами, вышла на борьбу с осенью.

Ночью, идя на проверку караулов, дежурный по части потянул носом горьковатый запах тлеющей листвы. Черный плац отражал небо. Непорядок был устранен.

Но утром навстречу батальонам, шедшим на полковой развод, уже шуршали по асфальту стайки желтых анархистов. Откуда-то налетел ветер, и к концу развода облепленные листвой офицеры, еще пытаясь разобрать обрывки командирской речи, держали фуражки двумя руками. В гуле и шелесте командир открывал рот и сек ладонью воздух, и если не содержание, то общий смысл сказанного до личного состава доходил.

Шло время, полк стыл на плацу; прапорщик Трач, топчась позади взвода, говорил прапорщику Зеленко: «Во погода... Придется отогреться, Колян?» – и попихивал того локтем в бок. «Нечем», – сумрачно отвечал Колян и отворачивался от ветра. Они говорили, а ветер все дул, и листья скачками неслись мимо ротных колонн.

После развода на плацу осталась седьмая рота, чтобы, по здешнему обыкновению, немножко походить строем туда-сюда. Полк опустел, и звуки со стрельбища доносились глуше обычного.

Прошло два часа. Ветер выл, обдирая деревья, а седьмая все ходила, увязая в листве, как в снегу. На исходе третьего часа при развороте «правое плечо вперед» из строя с криком выпал сержант Веденяпин. Он сел на плац, разулся и, встав, запустил в небо оба сапога. Сапоги улетели и не вернулись, а Веденяпин шагнул с плаца и навсегда пропал в листопаде.

Только когда листва начала шуровать в намертво закупоренном помещении штаба, дежурный по части решил наконец послать дневального за командиром полка.

Потом дневальный этот много раз пытался объяснить особистам, как ему удалось заблудиться среди трех домов офицерского состава, но никого не убедил. Отправленный на гауптвахту, дневальный тут же потерял конвоиров и, занесенный листвой по голенища, еще долго стоял посреди гарнизона, как памятник осени.

Не дождавшись командира, дежурный, заранее вспотев, доложил о катаклизме в дивизию, и откуда приказали:

- командира найти;
- строевые занятия прекратить;
- роту вернуть в казармы;
- листопад ликвидировать.

Все было исполнено в точности. Командира обнаружили в собственной квартире, сидящим с циркулем над картами округа; седьмую роту откопали практически без потерь; утрамбованную листву вывезли на грузовике к сопкам и зарыли в яме два на полтора, чтобы больше не видеть ее никогда.

Отличившимся при зарытии было выдано по пятьдесят граммов сухофруктов.

Перед разводом в полк приехал комдив, лично проверил чистоту плаца, дал комполка необходимые распоряжения, касавшиеся восстановления должностного хода службы, – и

убыл.

А ветер дул себе, потому что никаких приказаний в его отношении не поступало.

Беда грянула через два часа: в полк приехал генерал с такой большой звездой на плечах, что караульный сразу упал без сознания. Из штаба ли округа был генерал, из самой ли Москвы – разобрать никто не успел, а спросить не решились. Шурша листвой, генерал вышел на плац, повертел головой на красной короткой шее, спросил, почему на плацу бардак, обозвал личный состав обидным недлинным словом, повернулся и уехал.

Проводив нехорошим взглядом толстую генеральскую машину, командир полка посмотрел под ноги, потом сощурился на небо и увидел в уже неярком его свете: на плац, пританцовывая в воздушных потоках, опускались листья.

Он тяжело поднялся к себе в кабинет, сел за стол, снял фуражку и вызвал комбатов. И уже бежали, тараня плечами ветер, посыльные к ротным, и сержанты строили свои отделения...

Через час личный состав полка, развернувшись побатальонно, схватился с осенью врукопашную. Листья, не желавшие опадать, обрывались вручную; оставшееся ломалось и пилилось. Ритуальные костры задымили в небо над полком. К отбою вместо деревьев, в шеренгу по два, белели по периметру плаца аккуратные пеньки.

С анархией было покончено. Все разошлись. И только новый дежурный по части долго курил, стоя перед пустынным, выметенным асфальтовым полем, словно еще ожидал какого-то подвоха. В казармах гасли огни, над черной плоскостью полкового плаца, ничего не понимая, взлетал и кружился последний неистребленный лист.

В шесть утра молоденький трубач из муззвода продудел подъем и, засунув ладони подмышки, побежал греться в клуб.

А на плац опускался снег.

1984

УВОЛЬНЕНИЕ

Сержант Демин подмигнул дежурному по КПП, козырнул и вышел за ворота. До приказа оставалось семьдесят пять дней, а этот только начинался, и в кармане у Демина грелась законная увольнительная до двадцати трех.

Дорога пошла под уклон, внизу за гарнизонными трехэтажками распахнулся небосвод, как на ладони лежали синеватые сопки, прилепленные к низине поселки со смешными названиями: Степаниха, Коноплянка, Тугач... Он втянул носом теплый воздух и засмеялся. С Катей договорились встретиться вечером, времени впереди уйма...

У поселка на изгибе дороги, блеснув лобовым стеклом, показался серый ЛИАЗ.

Путь до города был недлинным. В кинотеатре крутили «Петровку, 38», и Демин немедленно купил билет на двенадцать. Прикончив второе мороженое, он поднялся с горячей скамейки и подошел к стенду с газетой. «Спартак» на своем поле даром отдал два очка, но это не испортило настроения.

В буфете перед сеансом он взял ситро и вафли. Он не любил ситро, и вафли не любил, но было так приятно не получать пищу в окошке раздачи, а давать деньги, брать мелочь...

Через два часа сержант Демин вышел из зала в самых растрепанных чувствах. «Петровку, 38» он мог бы смотреть без перерыва до самого дембеля. Фильм был замечательный: в нем показывали Москву.

В агентстве «Аэрофлота» былолюдно. Прислонившись к колонне, Демин привычно нашел на табло Москву: туда по-прежнему было четыре рейса в день. Полюбовавшись этим немного, он вышел на улицу и отправился в кафе. Надо было куда-то девать время до вечера...

Детсад, где работала Катя, стоял на окраине. Демин шел вдоль тихих деревянных домов, мимо низеньких скамеечек перед палисадниками. Прохожие встречались редко. Улица, петляя, утыкалась в полотно железной дороги – там гроыхали, сцепляясь, вагоны, и с утра до ночи дробился о домишки гулкий женский голос...

Он отнял палец от звонка и в наступившей тишине услышал, как колотится сердце – ровно и быстро.

Тихонько щелкнула щеколда.

– Здравствуй, – сказала Катя. – Ну заходи, заходи...

Когда она закрыла дверь, он привлек ее к себе и поцеловал, удивляясь теплым губам, томящему запаху чистых волос и своему сердцебиению.

Месяц назад человек двадцать из их батальона пришли на вечер в педучилище – вроде как по шефской линии. Кто там над кем шефствовал, так и осталось тайной; после немудреной речи замполита заиграл полковой ансамбль и начались танцы.

Катю Демин заметил сразу. Еле дождавшись медляка, он обругал себя для храбрости последними словами– и пересек выжженное взглядами пространство зала. Они пошли танцевать, а потом остались стоять посреди зала, и Демин вспомнил: на школьных вечерах это время гасили свет.

После отбоя сержанты собрались у каптерки. Деминскую девушку все одобрили; уставший от побед на женском фронте Лешка Цыбин обнял его за плечо и сообщил на всю роту:

– А Демин-то у нас – гляди!

Демин пытался вырваться из цыбинских объятий, но в глубине души был не против

скользкой репутации ловеласа. Он гордился сегодняшним приключением и тем, как легко договорился о свидании.

Они встретились через неделю и целовались в темном зале кинотеатра, а потом стояли в ее парадном и целовались снова. Потом он смог вырваться в увольнение еще только раз, и они маялись у нее на работе, среди детских стульчиков с утятами и жирафиками.

В соседней комнате сидела над конспектами Катина напарница; борясь с дыханием, они простояли в обнимку за пианино до тех пор, пока Демин не понял, что ближайшую неделю может провести на гауптвахте. Но помдеж только кинул выразительный взгляд на часы...

– Катюша...

– Что, Коля?

Они так и стояли, обнявшись.

– Ничего.

–пусти меня.

– Не хочется. – С ней он чувствовал себя опытным мужчиной.

– Перехочется. – Катя чмокнула его в нос и, ловко выскользнув из рук, открыла дверь в комнату. Коля вошел следом.

– Здравствуй! – приветствовал его Женя Буков, зажав в руке самосвал. – Ты почему не приходил?

– Я был занят, – честно ответил Демин.

– А-а, – важно протянул Буков. – А теперь не занят?

– Теперь нет. – Коля глянул на Катю; она уже поправляла штанишки хмурому гражданину с зеленкой на колене. Рядом пела белесая Аня; больше никого не было. – Теперь я свободен.

– Тогда давай играть, – немедленно решил Буков и покатил на сержанта самосвал.

– Давай, – вздохнув, согласился Коля и осторожно присел на детскую табуретку...

Деревья в саду уже начали темнеть, а Катин голос за дверью все рассказывал какую-то бесконечную сказку. «Когда ж они уснут?» – думал Демин, поглядывая на часы. Его била дрожь. Наконец голос стих, и Катя тихонько притворила дверь.

– Идем. – Она взяла Колю за руку и повела по коридору. Они зашли в комнату. Катя хотела зажечь свет, но он не дал, обнял ее и поцеловал в уже закрытые глаза.

– Ты одна сегодня? – спросил он.

– Да, – ответила она.

Они поцеловались, сели на узенькую кровать, потом легли. По стенке и потолку качалась огромная тень дерева.

– Катя, – сказал он.

– Подожди. – Голос ее задрожал, и Демин не сразу понял, что она плачет.

– Ты чего?

– Коленька, – она крепко прижалась к нему, – подожди, не трогай меня.

– Что с тобой? – Он вдруг испугался. Он не понимал, что происходит.

В тишине до них донесся гулкий женский голос со станции. Проехал грузовик, и снова навалилась тишина.

– Катя, – тихо позвал он.

– Коленька, – ее дыхание коснулось щеки, – скажи, кто я тебе?

«Ну вот, – подумал Демин, – приехали».

– Ты мне Катя, – ответил он.

– Скажи... – прилетел к нему шепот из темноты, – у тебя в Москве есть девушка?

– Не знаю, – ответил Демин чистую правду.

– Есть, – выдохнула Катя. – Значит, есть...

Коля поцеловал ее глаза. Он очень хотел, чтобы Катя оказалась права.

– И ты ей будешь рассказывать обо мне?

– Нет.

– Не рассказывай... – попросила она.

– Катюша...

– Не надо, Коленька. Я прошу тебя, не надо.

Тяжелая капля досады растворилась в его сердце.

– Не бойся, – сказал он. – Все будет как ты хочешь...

Они лежали и целовались, и время текло сквозь них, не касаясь сознания.

– Любимый мой, – услышал Коля легкий шепот и очнулся.

– Катя, – удивленно сказал он. Катя тихонько засмеялась и повторила по слогам. В темноте он нашел ее лицо и прижал к своему.

– Коля, – сказала она, – ты только не уходи сейчас, ладно?

– Я здесь, Катюша, – сказал он. – Я здесь.

Тень дерева качалась по стене и потолку, они лежали обнявшись, и Демину было почти безразлично, который час.

– Ну как? – Они с Цыбиным сидели в полковом буфете, пожирая под молоко булки с изюмом. – Как вчера-то? – Цыбин подмигнул Коле и разломил пополам последнюю булку.

– Нормально, – улыбнулся Коля, пожав плечами.

– М-м... – пропел Лешка набитым ртом. – Так ты ее трахнул?

– Отстань. – Демин оставил на лице улыбку.

– Если не трахнул, дурак, – резюмировал Цыбин. – Девчонка самое то. Молоко будешь?

Обижаться на Лешку не имело смысла.

... Они встретились еще только раз: на улице, случайно. Стоял октябрь, и дембель был на самом носу. Холодный ветер загнал их в кафе. Катя глядела весело, и Демина это неприятно резануло почему-то. Приткнувшись к стойке, он записал на клочке бумаги свой адрес и протянул ей.

– Спасибо, – сказала она и внимательно поглядела ему в глаза.

– Пиши, – сказал он, и сам услышал, как бесцветно прозвучал его голос.

На прощанье Демин хотел поцеловать девушку, но она отстранилась. Через минуту, уходя по вечернему городу, он уже не думал о ней. До Москвы оставались считанные дни, и Демин знал, что главное в его жизни начнется там.

ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Волынка ожидалась на полдня: взять дедовы вещи с Рязанки, и снова через весь город – к нему в больницу. А я только вернулся из армии и еще не вполне надышался свободой. Каждый московский перекресток потихонечку сдирал с моего сердца неприсохшую корку любовной тоски, но ничего сделать с собой я не мог – позавтракав, уходил из дому и до вечера бродил по улицам.

Свобода была опасным лекарством, но я был намерен увеличивать дозу.

Около полудня я вывалился из набитого трамвая и, одуревая от жары и тополиного пуха, пошел по асфальтовой дорожке через квартал. Я шел и мечтал о компоте. Бабушка готовила отличные компоты: сладкие, даже чуть приторные, но только чуть-чуть.

Я позвонил и немного погодя услышал за дверью знакомое шарканье. Хорошо помню, что разволновался, пока бабушка возилась с замком. Понимаете, она очень торопилась открыть...

Сразу после возвращения я навестил ее и деда и с тех пор ни разу не выбрался. Все-таки чертовски далеко они жили – полтора часа в один конец...

– Женя, здравствуй, – напевно сказала бабушка. – Заходи, заходи...

Я перешагнул порог и поцеловал ее. Для этого пришлось немного нагнуться. Плечо было мягким, щека прохладной.

– Ботинки не снимай.

Я прошел в затененную кухню и, присев на табурет у стола, блаженно привалился к стенке.

– Отдохни немножко, – сказала бабушка. – Сейчас будет обед.

– Баб, я сытый. Вот попить – есть что-нибудь?

Просить компота было неловко. Впрочем, бабушкин ответ я знал почти наверняка.

– Сейчас компоту налью. Ты сиди.

Она отошла от плиты к шкафу – там на полке всегда стояла большая кастрюля с черной крышкой, а в ящиках – это я помнил с детства – лежали орехи, конфеты и прочие лакомства. Бабушка была грузной женщиной, но двигалась легко, ловко.

Над столом висела клеенчатая карта мира; я пил компот и глядел на цветные лоскутки в самом мизантропическом настроении.

– Поел бы, – не выдержала бабушка через минуту. – Я борщ сварила. Вкусный борщ, попробуй.

– Бабуль! – Почему я был так раздражен в тот день? – Ну я же сказал: я сыт! Я из дома.

– Ну ладно, ладно... – Бабушка огорчилась и обиделась даже. – Не хочешь, не ешь. Расскажи, как у вас дела.

– Нормально. – Я пожал плечами. – Живем помаленьку.

– Как отец?

– Вроде ничего, – сказал я, проклиная тему, обреченную на общие слова. – Бабуль, да все в порядке. Как ты?

Кажется, вопрос прозвучал не слишком дежурно.

– Ноги болят, – сказала бабушка.

Внезапная жалость потекла по моему сердцу.

– Врача вызывала? – спросил я сурово.

– А-а-ай, Женя-а... – Махнув рукой, она повернулась к плите. Тут я услышал радио. Оно

бурчало что-то вполголоса и, видно, не первый час. Надо было перевести разговор, но я ничего не придумал. Бабушка сделала это сама.

– Когда выйдешь на работу?

– Какую работу? – я обрадовался возможности подурачиться. – Кто воевал, имеет право...

Бабушка обернулась, вытирая руки о фартук.

– Жень, ты невозможный человек.

– Бабуль, все в порядке. Время терпит.

– Время терпит...

Знаете, что спрашивала бабушка у отца, когда узнавала о том, что кого-то сняли за воровство или взятки? С подозрением и тревогой, каждый раз:

– Дима, он коммунист?

Бабушку никогда не интересовала должность этого человека и его зарплата.

– Коммунист?

И услышав ответ, качала головой:

– Как же так... Как же так...

Вещи для деда бабушка складывала на тахте и каждую называла вслух, чтобы ничего не забыть. А я сидел в кресле, нетерпеливо листая программу передач.

– Куда он положил свои лезвия, этот человек? – вдруг невесть у кого спросила бабушка, застыв над открытым ящиком шкафа. – Что за несчастье, честное слово...

Я отложил газету.

– Что, бабуль?

– Нету лезвий – что ты будешь делать?...

Я глянул на часы и решил брать процесс в свои руки. Что-то торопило меня, подстегивало, гнало отсюда – вперед, вперед! Мне казалось – я пропущу всю жизнь в этом кресле.

– Остальное – все? – спросил я.

– Все.

– Тогда давай складывать; лезвия куплю по дороге.

Бабушка тяжело, с укором посмотрела на меня.

– Жень, ты что, не знаешь деда?

Ну конечно! Дед не стал бы бриться никакими лезвиями, кроме лезвий «Ленинград», закупленных на век вперед и завернутых в носовой платок.

Они обнаружили под какой-то рубашкой.

– Ну, я поеду?

– Езжай, езжай, Жень.

Вперед, вперед, скорее...

– Спроси у деда, что еще надо. И скажи, чтобы пил таблетки. Ты же знаешь этот характер...

Я уже стоял у двери, и бабушка гладила меня по плечу.

– Не болей, – сказал я.

– Отцу привет. Погоди.

Бабушка ушла и вернулась с тремя яблоками.

– Бабуль!

– Съешь по дороге. Ай, не спорь! Что за человек...

По дороге от метро я все время искал автомат с газировкой. Других подробностей не помню; впрочем, нет, – рядом с больницей что-то строилось, пришлось сделать крюк и войти не с главного входа, а сбоку.

Внутри было тихо и прохладно. Я поднялся на второй этаж и остановился перед дверью. Я открыл эту дверь и увидел деда. Дед сидел на кровати у окна и ел яблоко.

Знаете, как дед ел яблоки?

Он брал плод с тарелки, тумбочки или столика, брал неуверенно, словно ощупывая его поверхность; обтирал в руках. Потом доставал старый перочинный нож и разрезал яблоко пополам. Может быть, иногда он делал это обычным столовым ножом, но я хорошо помню почему-то именно перочинный. На тыльной стороне ладони у деда были родинки, а кожа совсем коричневая от старости. Потом он разрезал еще раз и уже из четвертинок яблока аккуратно вырезал сердцевину. И только потом ел.

– Здравствуй, дед.

Дед вздрогнул и поднял голову. Последнее время он не сразу узнавал людей. Глаза его, увеличенные крутыми стеклами очков, глядели удивленно.

– Женя, – констатировал он наконец.

– Это я, дед.

– Здравствуй, Женя.

Он поглядел на двух стариков, соседей по палате, на меня и снова на стариков.

– Это мой внук.

– Здравствуйте, – сказал я.

Прошло три года, и теперь я помню только, что первый был высокого роста, а второй – маленький, с птичьим лицом, сидел, опираясь на палочку. Четвертая постель была пуста.

– Ну, как ты? – бодро начал я.

– Ничего. Это хорошая больница. Все, знаешь, обследовали...

Дед начал перечислять все плюсы пребывания в больнице. Он сидел напротив меня, коренастый и неожиданно маленький, в аккуратной пижаме. На голове и подбородке у него серебрилась легкая щетина.

– Дедуль, вещи куда класть?

– Какие вещи?

– Бабушка передала.

– Ничего мне не надо, – категорически заявил дед и почему-то посмотрел на стариков.

Терять время на такие пустяки было невыносимо.

– Знаешь, – сказал я, – я вот здесь оставляю, а не надо – отец потом заберет.

Но споры с дедом так быстро не заканчивались.

– Зачем это нужно? – Дед громко принялся за объяснение. – Кормят здесь прекрасно, белье дают... И что за женщина, это уму непостижимо!

– Не ругайся, Григорий, – раздалось из угла. – Много – не мало. Оставь.

– И лезвия твои здесь, – вспомнил я.

– Ну ладно. – Дед вдруг смирился, как ребенок. – Лезвия – это ладно.

И потерял к разговору всякий интерес.

– Это старший твой? – Высокий старик все изучал меня со своей постели. Дед не услышал, пришлось ответить мне.

– Нет, я не старший.

Третий старик все это время сидел вполоборота к нам и молча смотрел, повернув птичью маленькую голову.

Дед продолжал рассказывать о здешнем житье-бытье. С Иваном Матвеевичем они, оказывается, учились водном институте.

– Только Иван... – дед вдруг поглядел насмешливо, – мальчишка был, а я уже заканчивал. В двадцать девятом!

В двадцать девятом деда выслали из Москвы – и скорее всего, этот самый Иван Матвеевич вместе со всеми голосовал за его исключение из комсомола. Но прошло полвека – и ни тех, ни этих почти не оставило время, и его холодная волна вынесла уцелевших на отмели последних квартирок и больниц...

Открылась дверь, маленькая, с лицом, как из непропеченного теста, женщина вкатила тележку. Остановившись посреди палаты, она сказала: «Обед!» – и, стуча тарелками, стала разносить еду. Старики, напротив, притихли, подобрались. Закончив процедуру, женщина без единого слова укатила тележку, хлопнула дверью – и только тогда маленький старик, опершись на палочку, начал пересаживаться поближе к тумбочке.

Тяжелое молчание осталось висеть в пропитанном хлоркой воздухе палаты.

– Нелюбезная у вас официантка, – попробовал пошутить я.

– Да. – Иван Матвеевич даже не улыбнулся.

Дед все еще смотрел на дверь.

– Ты ешь, остынет, – я тихонько тронул его за колено.

Потом он рассказывал, как познакомился с Качаловым. Я слышал эту историю много раз – эту и еще несколько. Деду было что порассказать из своей жизни, но его коронным номером было: как он привел на институтский вечер памяти Есенина – самого Качалова.

Я слушал и задавал вопросы, ответы на которые знал дословно. Это было условием игры, я не хотел нарушать их. Дед уже давно жил прошлым. Из злободневных тем он откликался лишь на футбол, и то вскоре соскакивал на послевоенный ЦДКА – и уж будьте уверены, вспоминал состав полностью!

После смерти деда от его историй осталось только несколько страничек в отцовской записной книжке да кусок магнитной ленты на полминуты – тетка купила магнитофон и проверяла качество записи...

Маленькая женщина опять вкатила в палату тележку и стала собирать тарелки. И опять притихли старики, следя за ее манипуляциями. Что-то враждебное исходило от ее фигуры, от этих быстрых рук, от маленьких глазок на непропеченном лице.

Я прибирался в дедовой тумбочке, когда она закричала на маленького старика – в голос, как хозяйка на приживала.

Старик поднял птичью свою голову.

– Я не могу есть быстрее, – тихо сказал он.

– Забираю тарелку! – кричала женщина. – Три часа, обед закончился, сто раз, что ли, за вами ходить? У меня целый этаж, сколько вам повторять? Не первый раз уже задерживаете...

– Перестаньте кричать! – покраснев, сам закричал вдруг Иван Матвеевич и встал, опираясь о спинку кровати. – Перестаньте на него кричать!

– А вы не вмешивайтесь! – охотно развернулась женщина. – С вами никто не разговаривает!..

Все это происходило здесь явно не впервые.

Женщина укатила тележку к двери, и обернувшись, отчеканила, перед тем, как хлопнуть дверью:

– Через пять минут забираю тарелку!

Старик с птичьим лицом сидел, глядя перед собой.

– Э-эх, – простонал вдруг Иван Матвеевич, – э-эх, да что ж такое, а? Что ж такое-е...

Ведь мы ж за них, мы... – и замолчал, обхватил белую голову руками, отвернулся.

Дед виновато глядел на меня.

– Видишь, Женя, – оправдываясь за что-то, тихо сказал он, – строгая очень женщина, а Николай Степанович не может быстро есть, вот она и кричит...

Тут я словно очнулся.

– Сейчас, дед, – сказал я и погладил его плечо, – погоди, я сейчас...

– Скажи ей – нельзя так, нельзя! – крикнул мне в спину Иван Матвеевич.

Женщину я нашел на мойке. Она разгружала тележку, привычно грохоча посудой.

– Послушайте... – Голос у меня вдруг сел. – Послушайте, что вы себе позволяете?

Женщина обернулась.

– Чего? – мирно спросила она.

– Почему вы кричите на старого человека? Какое вы имеете право?...

Тут я увидел ее глаза и осекся. Она даже не понимала, о чем идет речь.

– Это старые люди, – сказал я. – Это больные. Этот старик, он имеет право обедать подольше.

Женщина просветлела.

– А ты не вмешивайся, – сказала она, – я же не в первый раз ему говорю; все капризничает. Они же как дети, я тут за девяносто рублей за всеми, что ты?

Маленькие глазки ее требовали сочувствия, и ватное, тяжелое бессилие, навалившись, разжало мои кулаки. Я постоял еще немного и ушел.

Бабушку мы похоронили в сентябре, дед прожил еще несколько месяцев. С тех пор прошло три года, и на кладбище, где они лежат, я прихожу редко. Все-таки Никольское, два часа в один конец...

Три года. Тысяча дней.

Но этот летний день, когда я шел в больницу к деду, грызя чуть кисловатые бабушкины яблоки, – этот день маячит передо мной, не отпускает, и в минуты бессонницы, смешивая былое с небылью, стрекочет в моей памяти обрывками немого кино.

... О чем мы говорим с дедом, я уже не слышу, только уходить мне не хочется. Я давно не видел его и понимаю, что увижу не скоро.

За окном проезжает машина, раздаются голоса.

Дед рассказывает что-то, я что-то отвечаю и стараюсь запомнить его получше.

1986

Мы жили на лавинной станции, в просторном доме, охранявшем ущелье.

Последняя попутка высадила нас у поворота и загромычала вниз, поднимая клубы белой пыли, а мы перекурили, впряглись в рюкзаки и медленно пошли наверх – туда, где темнел аул и светились огоньки станций. Там работали Володиные друзья, и они ждали нашего приезда.

Про тот первый вечер я помню только, что еле доплелся до бани, потом упал на кровать, застеленную свежим бельем, нервно рассмеялся и провалился в сон.

Проснулся я совершенно размякшим, и долго еще лежал в постели, ничего не соображая.

Мы прожили на станции четыре дня. Каждое утро начиналось с осмотра небес, но с гор несло рваные серые облака, и ни о каком выходе наверх не могло быть и речи. Володя по целым дням шуровал на кухне и гонялся за котами, потихоньку жравшими наши запасы. Мы с Ленькой, покрикивая для храбрости, заходили по колено в горную речку и там, вцепившись в валуны, орали уже благим матом. Оля загорала, растянувшись на теплых камнях со старым журналом, и только посмеивалась ехидно. У них с Ленькой было тогда что-то вроде медового месяца.

Вечерами хозяева с большим вкусом обставляли нас в биллиард. Профессия их называлась роскошно: физик снега. Раз в шесть часов кто-нибудь из них, вооружившись щупом, выходил на склон, прикидывая опасность схода лавины. Ежели чего, они расстреливали снег из старой, чуть ли не военных времен зенитки, стоявшей во дворе, и спускали лавину вбок от поселка.

Все остальное время, не считая субботних походов в поселок на блядки, лавинщики – один бородатый, другой сухощавый – играли в биллиард. Они делали это все три года, что жили тут, поэтому ни у меня, ни у Леньки с Володей не было ни одного шанса на победу.

Кроме этих физиков и этого снега, на станции обитало много всяческой фауны. Помимо котов, которых я уже помянул, во дворе имелась черная коза, а к фургону был привязан песик Тутоша. Тутоша был кавказской овчаркой, и когда он рвался с веревки, фургон пошатывало.

Собственно, с Тутоши и началась эта история. На четвертый день с утра Миша – тот, который бородач – уехал на нижнюю станцию, вернулся к обеду и за супом сообщил, усмехаясь, что привез этому чудовищу невесту.

«Невеста» ковыляла по двору, повизгивая и скуля. Тутоша смотрел на нее в полном изумлении, склонив голову набок. Вид у него был совершенно дурацкий.

Оля обняла Леньку за плечи и прижала нос к стеклу.

– Смотри, Клевцов, – сказала она, – какой медвежонок.

Ленька рассмеялся, а Володя мельком поглядел за окно и долил супу. Он не любил отвлекаться от того, что делает.

На следующее утро мы уезжали со станции. «Уезжали», впрочем, громко сказано; уходили. Вышли из дома, нацепили рюкзаки и стали прощаться. Песик уютно зевал на Олиных руках – она прижимала его к груди, как ребенка.

– Оля, – Клевцов тронул ее за локоть, – нам пора.

Олька уткнулась носом в шерсть, нагнулась и поставила щенка на землю.

– Ребята, – сказал бородатый, – если хотите – правда, берите с собой.

Длинный Валя молча кивнул за его спиной.

– Мы еще привезем – берите...

– Нет, – решил Ленька, – ну куда нам?

Оля глядела умоляюще.

– Нет, – Ленька положил руку на Олино плечо.

– Идем, – сказала Оля и первой пошла к воротам.

Мы пожали ребятам руки и отправились вдогонку. Клевцов, прощаясь, виновато дернул плечами.

– Счастливо, – сказал Володя, подтягивая рюкзак.

От калитки Оля помахала хозяевам штормовкой. Они тоже замахали руками, – и тут собачка вдруг взвизгнула, поднялась и быстро заковыляла к нам. Подойдя, она ткнулась в Олины ноги и села рядышком.

Клевцов обреченно вздохнул.

– Ну раз такое дело...

Оля порывисто схватила щенка и прижала его к груди.

– Мы ее берем! – крикнул Володя в сторону дома. И, повернувшись к нам, сказал: – Пошли, ребята, пошли...

Так нас стало пятеро.

Следом за Володей, как обычно, двинулся я, а Клевцов пропустил Олю вперед. Драгоценная ноша дышала ей в шею.

Собачку мы назвали Роки. В начале подъема, когда еще были силы шевелить языком, Ленька вспомнил, что тут неподалеку Рокский перевал, и это решило семейный вопрос. К тому же ничего, кроме Жучки, никто взамен не предложил. Роки так Роки.

Скоро стало совсем не до того. Шли мы медленно, Володькин рюкзачище маячил впереди как укор – до темноты надо было спуститься в долину и подойти как можно ближе к шоссе: мы пробирались к морю и надеялись поймать попутку. Грузия встретила нас за скатом перевала туманом, грязными ручьями вдоль тропы и страшной усталостью.

На привале псину вынули из Олиного рюкзака, где она проболталась последний час. Рюкзак был надет спереди, и Ленька сказал: Оля у нас – кенгуру. Никто не засмеялся. Ленька закурил, а Володя вынул из рюкзака термос и отвинтил крышку.

Роки сильно укачало. Привалившись кто к чему, мы смотрели, как несмело ходит она по тропе, и молчали. Выбора у нас теперь уже не было, сил тоже.

Потом Ленька поднес Роки к лужице, и несколько секунд она лакала воду. Напившись, села рядышком, почесала за ухом и вдруг высоко-высоко тьякнула. Похоже, несмотря ни на что, жизнь ей нравилась.

Через день, проснувшись на верхней полке в поезде, я увидел море. Все, что было до этого, слилось для меня в сплошную ходьбу под рюкзаком и жуткую мысль, что мы идем по одному и тому же месту и конца этому не будет. Была ночевка у грохотавшей по камням реки и утренняя переправа через нее на случайном бульдозере; был грузовик-попутка, в котором мы обреченно пили русскую водку за Грузию, закусывая теплым мясом и жестким сытным хлебом. Было воздымание рук при прощании, а потом опять попутки, и рейсовые автобусы, и взваливание на плечи опостылевших рюкзаков. И, наконец, вокзал, где местные жители цокали языками на Роки, причем некоторые при этом имели ввиду Олю.

Собаченция путешествовала на правах ребенка. Володька исправно мастерил ей овсяную кашку, а наш ужин всегда варился потом. После злополучного перевала Роки скакала по тропе сама, весело воюя с пятками Ленькиных ботинок. Клевцов чертыхался и даже попытался заняться педагогикой, но силы были неравны: Леньке мешал здоровенный рюкзак и чувство юмора. Роки отбегала, наклоняла башку набок и пыталась зарычать. Зрелище было уморительное.

Вот только поезда Роки переносила плохо: в купе сразу забивалась в угол и выла – громко и высоко, с плохо скрываемым ужасом.

Однажды вечером из соседнего купе появился толстый человек в майке и сказал, чтобы мы перестали мучить собаку. Я испугался, потому что Клевцов и так уже был на взводе, но Ленька сказал: «Уйдите отсюда», – и толстяк ушел. Он оказался очень чутким товарищем.

Собачка выла полночи. Оля плакала. Миска с водой так и осталась нетронутой до утра.

А утром я увидел за окном море, пустые купальни и чаек на пустом пляже. Первое солнце освещало худющую Володькину спину, на нижней полке спала Оля. Рядом с нею, пристроившись у живота, посапывал наш четвероногий ребенок по имени Роки.

Палатку поставили на пляже, ровнехонько между морем и железной дорогой. Володя пыхтел над примусом, мы с Ленькой занимались благоустройством. Роки дрыхла в тенишке под здоровенной корягой; Оля, мокрая и счастливая, отжимала на желающих волосы.

– Морие! – распевала она. Именно так: «морие»...

Потом пришел черед собачки. Оля принесла ее, как дите, подмышкой. Роки глядела индифферентно. Черное море не произвело на нее впечатления. Отпущенная в плавание, она без паники добралась до суши, отряхнулась и уселась прямо на линии прибоя. Потом тьякнула и без объявления войны напала на Олину ногу. Только здесь я заметил, что щенок, прямо по Маршаку, успел подрасти. Я вспомнил Тутошу с лавинной станции и подумал, что если через годик Роки захочет поиграть – я пас...

Ночью за пологом палатки распахнулось небо, какое бывает только в августе на юге. Мы долго не ложились, а потом еще дольше не спали, слушая дыхание прибоя и ритмы поездов. Роки всю ночь гуляла по нашим телам, выходила к морю, облаивала загулявшие парочки и возвращалась в палатку – чаще всего по моему лицу. Словом, охраняла нас, как и положено сторожевой собаке.

Наутро обнаружилось, что запасы на исходе, а финансы поют романсы. С тех пор только Роки по-прежнему получала свою миску каши и единственная не была подвержена приступам меланхолии: лезла в репейник, скакала по пляжу, тьякала в свое удовольствие на проходящих – обыкновенный здоровый ребенок...

В последний вечер мы с Володькой сидели на теплых камнях, рядышком стояли обнявшись Оля с Клевцовым. Море покачивалось у самых ног. У палатки пела цикада. За ее голову когда-то был обещан доппаек, но в тот вечер спать никому не хотелось.

По-моему, все мы были счастливы тогда.

У самой кромки горизонта почти незаметно для глаза двигался пароход. Он казался подсвеченной игрушкой, изящной и невесомой.

– Ну что, Роки? – Оля взяла ее на руки и прикоснулась носом к холодному носу собаки. – Хочешь в Москву?

Роки промолчала.

Последние сутки перед поездом мы прожили в привокзальном сквере в Туапсе.

Денег на камеру хранения уже не было, последний рубль честно четвертован, а рюкзаки намертво связаны за лямки и безо всякой охраны оставлены у скамеек.

Роки обошла свои новые владения и быстро заработала куриное крылышко.

– Ей это можно? – нараспев спросила у меня пожилая украинка. Я чуть было не ответил, что это можно и мне. Поев, мохнатая вымогательница улеглась в тенишке у рюкзаков.

Надо было убить время до поезда; Оля с Ленькой ушли прокучивать свои пятьдесят копеек, а мы с Володькой уселись за доску. Вообще-то я играю сильнее, но тут он, как говорится, уперся, и дело шло к ничьей. Мы даже не сразу услышали, что нас зовут.

Что-то толкнуло меня в сердце. Я посмотрел вниз – Роки у рюкзаков не было. Тут Володя рванулся куда-то вбок, и я увидел собаку: она возилась на тротуаре, в полуметре от идущих машин.

Схватив Роки, Володя, ни слова не говоря, принес ее на место и привязал страховочной веревкой к рюкзаку.

– Спасибо, – негромко сказал я украинке.

Рядом, чертыхнувшись, опустился на скамейку Володя. Партию доигрывать не стали.

Полчаса Роки надрывалась изо всех силенок. Она забиралась на бордюр, в голос скулила, спрыгивала вниз и падала, натягивая веревку. Мы поднимали ее наверх, и все повторялось снова. Роки падала и выла – в ужасе перед неволей, заглянувшей в ее круглые глаза.

И снова, как тогда в поезде, со всех сторон сбежались защитники животных – одних детишек было человек шесть, они плакали, умоляли мам заступиться, и я думал, что сам умру раньше Роки. Володька выглядел спокойным, но скулы у него порозовели.

Потом собака легла на землю и замерла. Володька отвязал ее, а я взял на руки. Сердце у Роки стучало часто-часто и очень сильно. Она не реагировала на поглаживания и даже не скулила – только вздымалась и опускалась, вздымалась и опускалась грудь.

– Ничего, Роки, ничего... – повторял я, как заведенный. С чужой неволей тоже бывает трудно смириться.

В Москве на Курском вокзале я сделал последний снимок: Володя, Оля с Ленькой и собачка. В метро мы пожали друг другу руки и лапы, расцеловались и разъехались по домам.

Роки украли на следующий день – на почте, пока Оля отсылала какой-то перевод.

Клевцов сказал мне об этом по телефону.

– Сволочи, – сказал я после паузы.

– Как Олька? – спросил я потом.

– Да-а... – мне показалось, что Ленька – там, на другом конце города – махнул рукой. – Что Олька? Ревет...

С тех пор прошло полтора года.

Володька, как обещал ребятам-лавинщикам, зимой уехал работать на станцию – весной прилетал в Москву, приглашал к себе, но ничего не вышло: женюсь. Ленька с Олей развелись; иногда я встречаюсь с ними, но уже поодиночке, и о том лете стараюсь не напоминать.

Где сейчас Роки, не знаю. Наверно, сторожит чью-нибудь дачу. Если у кого дача – лучше кавказской овчарки сторожа не найдешь.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Виктору Павловичу Юхновскому

В институт Илюша не поступил из-за тройки за сочинение. Мыслей у него оказалось больше, чем нужно для приличной оценки.

Расстраиваться не было времени: его юную жизнь ждали великие дела. Илюша хотел бы валить тайгу, исследовать галактики или ходить по горным кручам с рюкзаком, набитым полезными обществу ископаемыми, но тайга и кручи были далеко, галактики вообще черт знает где, а в соседнем доме обитал НИИ с двухметровым названием, куда Илюша и устроился до армии – чертежником-конструктором, на 65 рублей.

Приходя на час позже остальных (он был очень молод, и недюжинное его здоровье охранялось законодательством), Илюша быстро надевал белый халат и вставал к кульману. Из-за соседних кульманов на него одобрительно смотрели женщины, прочертившие здесь полжизни и получавшие за это гораздо больше Илюши – рублей по сто десять.

По черчению у Илюши была когда-то твердая четверка, он хорошо это помнил.

Через час возле сопящего от усердия новобранца останавливался одышливый начальник отдела, товарищ Седых Иван Пантелеймонович – и начинал рассматривать Илюшины фантазии на темы ГОСТа.

Под маской чертежника четвертого разряда таился самый разнузданный абстракционист. Диоды и транзисторы то лепились друг к дружке, сграбастанные невидимой лапищей, то разлетались кто куда, образуя на ватмане загадочный вакуум; шрифт валился сразу во все стороны, а параллельные пересекались не в бесконечности, как им полагалось, а здесь же, на листе. Прямыми углами Илюша НИИ не баловал – самое большее градусов восемьдесят.

– Так, – придя в себя, мягко говорил Седых. – Уже лучше. Намного лучше, Илья. Но никуда не годится.

Свернутый в трубу лист летел в корзину, а на кульмане появлялся новый.

– Ты не торопись, – говорил Седых. – Это же принципиальная схема! Все должно быть чистенько.

Тут пора открыть одну государственную тайну. ВНИИ Илюше, несмотря на его молодость, доверили делать документацию к очень серьезному прибору – девять чертежей, один другого важнее. Он понимал, что страна без прибора не может, очень старался и килограммами изводил ватман. Скоро нижняя Илюшина губа вздулась от постоянного прикусывания, и настал день, когда он обнаружил, что начерчено хорошо, совсем чистенько начерчено, но блоки перепутаны местами. Тогда Илюша убежал в туалет и там заревел, размазывая слезы грязным платком и окончательно понимая, какой он никчемный и несчастный человек...

За серым прямоугольником окна истекал дождями октябрь, отдел пил чай за угловым кульманом, чтобы не застукали пожарники, старенькая Любовь Михайловна тоненько затачивала карандаши и, не глядя на Илюшу, рассказывала, как у нее сначала тоже ничего не получалось... Танечка, волновавшая Илюшу до полной немоты, заваривала ему чай в бумажном пакетике на ниточке и подвигала общественные пирожки с рисом.

Потом наступила зима. В морозной тьме Илюша торопливо скрипел от дома к проходной – он торопился не из-за холода, он спешил переодеться и встать к кульману. Первый чертеж, дитя осенних мук, уже лежал в столе, чистый, как совесть, и в правом нижнем углу его была аккуратно вписана небанальная Илюшина фамилия.

Одышливый начальник отдела, останавливаясь у кульмана возле окна, теперь удовлетворенно попыхивал губами, говорил:

– Угу, угу... – и делал одно-два замечания, не больше.

Илюша при этом уже не краснел, а наоборот – расправлял плечи, кивал и небрежно прорисовывал какой-нибудь контур. Любовь Михайловна громко хвалила его Танечке и Валечке и между чаями показывала, как делать, чтобы линия шла тоненько и ровненько, как ниточка.

Недели пролетали белыми птицами, приближая день сдачи документации прибора, скрытого от мирового империализма таинственным шифром КС-22.

– Давай, давай, Илюша, – серьезно говорил Седых. – Никольский ждет чертежей.

Никольский был завлаб, лауреат и, по общему признанию, гений.

Илюша боялся спросить о сроках работы и понимал происходящее так, что в цепочке, завершающейся полной победой коммунистического труда, точно посередине находится завлаб и гений Никольский со своим прибором, а в самом-самом начале – он, Илюша, с девятью чертежами, и народы мира ждут его, переминаясь, как бегуны в эстафете.

После зимы, как и предполагалось, наступила весна.

За угловым кульманом по-прежнему посвистывал чайник, но Илюша, на удивление женского коллектива, мотал головой и оставался у своего рабочего места. Теперь даже с обеденных перерывов он возвращался раньше остальных.

За окном текли ручьи, и дворничиха в распахнутом ватнике огромной плоской лопатой сгребала куски черного снега. Потом высох асфальт, подернулся зеленым дымком скверик перед проходной, и в эти дни восьмой лист аккуратно перешел с кульмана в стол. Потом солнце начало печь сквозь стекло... Илюша, вдохновенный, как Господь Бог в шестой день, в поте лица своего трудился над последним листом. Кое-какие мелочи он специально оставил на после праздников, на сладкое: красиво вписать шифр и фамилию...

– Молодец, – сказал Седых, глядя на молодого чертежника, подтиравшего несуществующее пятнышко. – Молодец! Ты все проверил? Не возвратят?

– Полный порядок, – заверил Илюша, смахивая с ватмана крошки ластика, и улыбнулся: он был уверен в каждой буковке – да что там! – он мог по памяти нарисовать все девять чертежей, включая принципиальную схему.

– Тогда вперед, – улыбнулся в ответ Седых. – Направо по коридору, сто пятая комната. Его зовут Вениамин Сергеевич. Не забудешь?

Уголки большого Илюшиного рта неудержимо потянуло к оттопыренным ушам.

– Направо по коридору, сто пятая, Вениамин Сергеевич!

В пять секунд Илюша пролетел по узкому коридору и, унимая сердцебиение, постучал в дверь.

Всклоченный лысеющий человек в синем халате на майку нависал, скрючившись, над плечом костлявого бородача. Бородач, в свою очередь, нависал над какой-то квадратной штуковиной и ковырял в ней паяльником. Другой бородач сноровисто пилил прямо на подоконнике нечто металлическое. В комнате царил хаос, пахло жженой изоляцией, канифолью и сотворением мира.

Юношу с аккуратной вагманской трубкой в руках никто из присутствующих не заметил, и он вежливо кашлянул от дверей в потный от волнения кулак.

– Чего? – отрывисто спросил лысеющий, повернув к двери изможденное лицо. Вениамин Сергеевич Никольский не любил, когда его отвлекали.

– Вот, – торжественно сказал юноша и протянул вперед руку с чертежами. – Принес.

– Что там такое? – пробормотал Никольский, подскочил к Илюше и, выхватив трубку, начал нетерпеливо сдирать с нее голубую ленту. Ленту Илюша специально принес из дома, для пущей красоты. – Понавязали, черт знает что такое!

Не совладав с узлом, Вениамин Сергеевич попросту отогнул угол верхнего чертежа и, надорвав ватман, заглянул в шифр. Бородач с паяльником перестал паять и поднял на гения-завлаба прозрачные глаза.

– Чего там?

– Да ничего, – ответил завлаб. – Ка-эс нарисовали наконец.

Бородач с напильником почему-то захохотал.

– Ты небось рисовал? – любопытствовал бородач с паяльником, с нескрываемым интересом рассматривая Илюшу.

– Я, – зардевшись, скромно ответил тот и протянул руку к заветной трубке, дабы помочь гению с развязкой ленточки. – Тут девять чертежей. Принципиальная схема, общий вид...

– Ну да, да, – поморщившись, прервал Никольский и нервно поскреб шею. – Леш, где у нас все по Ка-эсу?

Тот, который с напильником, поднял брови домиком и пожал плечами.

– Пес его знает, Сергеич. Это ж сколько лет прошло! Там где-нибудь...

И он возвел очи к потолку. Илюша, холодея, проследил за его взглядом.

На забитых железом стеллажах, под самым потолком, громоздился пыльный, многопудовый, ежеминутно грозящий обвалом склад документации.

Но люди, работавшие здесь, ничего не боялись.

– Ага, – бодро сказал Никольский. – Чудненько, чудненько!

Сказавши это, гений-завлаб вдруг отвратительным козлетоном пропел: «Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих», развернулся и отработанным движением жонглера запустил чертежи вверх. Описав гигантскую параболу, они воткнулись точнехонько между двух таких же ватманских труб и навсегда успокоились там, на высоте вечных снегов.

– Тэк-с! – крикнул Вениамин Сергеевич, очень довольный броском. – Отлично. Отлично!

Он потер руки, и через секунду феноменальный, поперечно прикрытый последними волосами череп его снова завис над плечом бородача с паяльником.

А который был с напильником, опять запилил: вжик-вжик, вжик-вжик...

Илюша стоял посреди комнаты с открытым ртом; пальцы его сжимали голубую ленточку. Как кружевной платочек возлюбленной, разрезанной на кусочки стаей трамваев.

– Мне можно идти? – спросил он через полминуты.

– Конечно-конечно, – не выныривая из технических глубин, отозвался завлаб, а тот, что с напильником, перестал пилить и посмотрел удивленно: он еще здесь?

Илюша ватной рукой прикрыл дверь с той стороны. У Доски Почета дымили в три рта. Из одного – густо напмаженного – вместе с дымом вырывался наружу колоратурный смех. Илюша подошел к урне и разжал пальцы. Когда голубая ленточка, крутясь, исчезла в дырке, он туда же плюнул и по бесконечному коридору поплелся в отдел.

Впереди его ждала большая трудовая жизнь.

Дерюгин открыл дверь и сказал:

– Пожалуйста, заходите!

В коридоре вдоль стен стояли с десяток девочек самых разных мастей и размеров, несколько мам-бабушек и мальчишка. Этот был напуган больше всех.

– Давайте уж все сразу, – сказал Дерюгин и привычно улыбнулся в пространство. – Нет, извините, родителей мы не пускаем...

Впустив последнюю девчушку, он закрыл дверь, опустил в кресло и поднял глаза. В большом окне за ребячьими головами падали листья. Они падали в этом окне уже неделю, и в самые тоскливые минуты Дерюгин, давая себе передышку, позволял душе отвлечься на их плавный полет.

– Здравствуйте, – сказал он и загнал зевотку обратно в легкие. Это была уже четвертая группа за день. – Давайте знакомиться. Меня зовут Александр Львович. Пожалуйста, по порядку – имя, фамилию и класс...

Первой слева сидела Ира Капустина из шестого «А». Обеими руками Капустина сжимала измусоленную книжку, на круглом – почти идеально круглом – лице застыло выражение ужаса.

Ее вид настроения Дерюгину не поднял.

– Букву можно не называть, – сурово произнес он и обвел глазами присутствующих. Капустина аж съежилась.

«О господи», – подумал Дерюгин, предвкушая ее чтение, и снова – десяти дней еще не прошло – с привычной уже тоской вспомнил вечерний пляж, длинные золотистые тени на песке, море покачивается, музыка доносится из ресторана, – вспомнил и поморщился, мотнул головой даже.

– Дальше!

– Евтифьева Наташа, седьмой «Б»!

– Бук-вы не на-до.

Дерюгин марал бумагу, медленно зверея.

– Смирнова Настя, шестой!

– Шес-той...

Надо было начинать. Дерюгин еще раз обвел жирную шестерку и провел под ней черту. Потом отложил ручку, обреченно поднял глаза на Капустину и сделал широкий жест на середину комнаты:

– Прошу!

Капустина прочитала «Парус». Ничего нового из ее выступления Дерюгин не узнал, и чего тому парусу неймется, так и не понял. Радостно сообщив последнюю строчку, Капустина посмотрела с чувством исполненного долга: дескать, все!

Дерюгин разозлился.

– Спасибо, – стараясь следить за интонацией, сказал он. – Теперь вы – курица.

– Я? – ужаснулась Капустина.

– Вы, – участливо подтвердил Дерюгин.

– Я не могу, – сказала Капустина и густо покраснела от мысли, что она – курица.

– А вы попробуйте, – перекрывая хихиканье, посоветовал Дерюгин, уже давно знавший, что она не может.

Капустина оглянулась, ища поддержки.

– Ну?!

– Кудах-тах-тах, – вздрогнув, сказала Капустина и неуверенно сделала полными ручками вверх-вниз.

– Спасибо, – вздохнул Дерюгин, – садитесь.

Капустина отправилась к своему стулу с сияющим лицом: понимала, что легко отделалась. Могли сказать, что она дождевой червяк. Или жаба.

«Уйду, – глядя, как усаживается толстушка, решил вдруг Дерюгин. – К чертовой матери! Хватит с меня».

На душе вдруг стало легко. Он новыми глазами оглядел сидящих – десять девочек и мальчика – посмотрел в листок, потом на соседку Капустиной, девочку с узким лисьим личиком, и весело пригласил:

– Пожалуйста, Наташа.

Наташа Евтифьева вышла на середину, уперлась взглядом в стеллаж над дверью, набрала побольше воздуха и крикнула:

– Сижу за решеткой в темнице сырой!

Дерюгину сразу похужело. Голос у Евтифьевой был специальный: голос для митингов. Такими хорошо пугать империалистов.

– Стоп! – сказал он. – Это кто – вы сидите?

– Нет, – призналась Евтифьева, поглядев на него с подозрением.

– А кто? – заинтересовался Дерюгин.

– Узник, – хмуро разъяснила Евтифьева и поглядела еще подозрительнее.

– Стишок-то чей? – Дерюгин был само терпенье.

– Пушкина.

– Вот! – обрадовался Дерюгин. – Значит – Пушкин. Александр Сергеевич. Стихотворение «Узник». Теперь понятно.

Сарказм распирал его. Чужая бездарность странным образом улучшала настроение. «Остановлю на второй строфе», – решил он.

Голос Евтифьевой быстро набрал расчетную высоту. Содержание «Узника» с самого начала показалось Дерюгину подозрительным: получалось у чтицы, что некий молодой орел сидит за решеткой, а какой-то грустный товарищ клюет под окном кровавую пищу.

«Уйду, – весело думал Дерюгин, – Мы вольные птицы – пора, брат, пора...»

Через пару строк он Евтифьеву остановил и для очистки совести попросил басню. Басни Евтифьева не знала и насупилась.

– Ну, садитесь, – добродушно сказал Дерюгин. Он вдруг вспомнил, что вечером по телевизору футбол со «Спартаком», и обрадовался: «Спартак» играл хорошо, а главное – вечер заполнялся, и не маячила в нем сосущая душу пустота, вечный реквизит неудачника...

– Прошу! – сказал он.

Районный дом пионеров располагался в старом особняке с крутыми лестницами; окна его выходили в небольшой сквер, где на облупленных грязно-белых скамейках коротали дни женщины с книжками, колясками и вязаньем, процеживали время одинокие старухи...

Копя обиду на судьбу, Дерюгин работал здесь третий год.

... Листья падали сплошным потоком; с того места, где он сидел, не было видно ни неба, ни земли – листья появлялись из-за верхней кромки окна и исчезали за нижней; иногда порыв ветра срывал ветку, и она пролетала вниз, обгоняя мерное, невесомое, завораживающее течение.

Дерюгин заставил себя собраться и вызвал Катю Горбушкину, восьмой класс.

Дело шло к концу. За последние двадцать минут дерюгинский слух обласкали еще два «Паруса», два «Узника» и тютчевское «Люблю грозу...» без последней строфы (ветреную Гебу и Зевесова орла казнили составители хрестоматии). Дерюгин держался из последних сил.

Катя Горбушкина читала «с выражением». Какой-то доброхот уже научил ее нужным жестам и завыванию на драматических местах. «Боже мой, – думал Дерюгин, глядя, как, покачиваясь, падают за девочкиной спиной листья, – боже мой, кого ты читаешь, откуда вы выкапываете этих поэтов (“Чьи это стихи, Катя?”), а-а, понятно, уходить, уходить отсюда (“Достаточно, басню”), вот это другое дело, дедушку Крылова я послушаю, молодец, Катя, а ты симпатичная, оказывается, ну, ничего, с кем не бывает, давай вспоминай скорее, что там приключилось с вороной; знаешь, Катя, ты, конечно, не ахти, но тебя я в кружок запишу, тебя и вот этого Колю – тебя за то, что симпатичная, а Колю за то, что мальчик: с мальчиками, Катя, тут совсем плохо...»

– Достаточно, садитесь.

В наследство от прежнего руководителя Дерюгину досталась пьеска из псевдопионерской жизни и две недоброкачественные сказки. Мальчики в кружок не шли, девочки ничем, кроме дисциплинированности, не радовали. Мельпомена в упор не видела Дерюгина, и, подергавшись, он махнул на все рукой. Наступала осень, и, живя ожиданием неведомых перемен в судьбе, Дерюгин раскидывал на своих пионеров новый шедевр о дружбе и верности; боясь наткнуться на лица однокурсников, листал «Советский экран» и морщился, как от зубной боли, когда его хвалили на педсоветах за наполняемость групп.

Странной была его работа, но тоскливей всего он чувствовал себя в эти первые дни сентября, раз за разом слушая в комнате с огромными окнами «Узника» и «Парус», когда падали за двойными стеклами листья, потрескивала люминесцентная лампа, и особенно очевидным становилось, что жизнь проходит, проходит бездарно, нелепо – и переиграть в ней ничего нельзя.

Дерюгин посмотрел на часы: начало седьмого, а еще сдавать данные за день, нести ключи на вахту, и какая-нибудь мамаша обязательно остановит выяснить, почему не взяли дочку, – она так мечтает о театре, в школе играет сценки, а теперь из-за Дерюгина будет плакать, зачем он ломает девочке жизнь?...

– Что читать? – выйдя на середину, спросила Юля Полесина, пятый класс. Ушки-паруса, нос-картошка... «Ничего не читать», – поймал в горле Дерюгин, а сказал, еле заметно пожав плечами:

– Что хочешь.

– Кедрин, – подумав секунду, объявила девочка. – «Приглашение на дачу».

«Надо же», – успел удивиться Дерюгин...

– Итак, приезжайте к нам завтра, не позже! – пригласила его девочка и улыбнулась, как старому знакомому. – У нас васильки собирай хоть охапкой...

И раньше, чем что-нибудь понять, он почувствовал, что улыбается в ответ этой смешной пятикласснице. Комната и окно с осенью ушли куда-то, Дерюгин увидел вдруг и дачный лес, и грибной июльский дождик, очутился там, внутри светлой кедринской строчки, услышал гром, вдохнул промытый грозой утренний воздух – и засмеялся.

Девочка замолчала, сморщила носик и, чуть наклонив голову, лукаво и внимательно посмотрела на Дерюгина.

– Дальше, дальше! – крикнул он и замахал руками.

Девочка кивнула.

Она стояла у подоконника, большеглазая, некрасивая, распрямленная какой-то тайной пружинкой, устремленная куда-то, куда ему, Дерюгину, уже вовек не дойти, никогда не дойти, никогда. И от этого годами копившаяся горечь хлынула в его душу, подступила к горлу, заволокла взгляд.

Девочка стояла на фоне листопада, ждала.

«Ну что же, – непонятно о чем подумал Дерюгин, – значит, так... И никто тут не виноват».

– Спасибо, Юля, – сказал он. – Спасибо, садись.

Последней в этот день выступила Настя Смирнова.

Настя прочитала стихотворение «Узник».

1986

СЛИВЫ ДЛЯ ДОЧКИ

После дежурства – Еремин сторожил театр – надо было опять ехать на рынок.

С неба после суток дождя еще сеялась водица; июль, подумал Еремин, а лета нет. Троллейбус не шел, и настроение было поганое. В голове занозой сидели деньги: до конца сентября должно было капнуть два раза по тридцатке, но все съедал рынок, а впереди маячил ремонт. Говоря прямо, Еремин вылетал в трубу.

В довершение всех бед куда-то запропастился проездной билет, и теперь Еремин, свирепея, без конца кидал пятаки – ездить приходилось много. Это, с единым, раздражало особенно.

Из-за поворота выполз троллейбус, остановился посреди лужи и раскрыл двери – влезай как хочешь. Еремин, все проклиная, угнезвился в чьей-то подмышке.

А еще раздражали всякие мелочи – в последний год мелочи эти таежной мошкой одолевали ереминскую жизнь, хоть стреляйся. Вот и сегодня должен был он что-то еще сделать, какая-то была епитимья, кроме рынка – не баллоны, баллоны он заправлял в прошлый раз, но что? А вот черт его знает, что, и вспомнится, конечно, только в электричке. Сколько раз заводил он ежедневник – и бросал, забывал вести, и вились над ним мелочи, не давая продохнуть. Эх, мечтал придавленный к дверям Еремин, недельку бы другую пожить стерильно, в мире идей...

Вкрадчивый женский голос попросил граждан приготовить билетики.

В груди у Еремина похолодело: взять билет он забыл. Вокруг зашевелились; контролерша – нехудая дама с черной сумочке на руке, запеленговав Еремина, уже впиалась охотничьим взглядом в его лицо.

– У меня нет билета, – сказал он голосом, полным безнадежного достоинства. Безнадежности, впрочем, было больше.

Несмотря на чистосердечное признание, дама немедленно схватила Еремина за рукав у локтя.

– Я не собираюсь убежать, – сказал он, чуть усмехнувшись. Он хотел понравиться публике, жадно наблюдавшей этот трехрублевый фарс. – Пустите руку.

– Скорый какой, – громко объявила контролерша, тоже стараясь понравиться публике и недвусмысленно намекая на ереминскую близость к двери. – Платите штраф!

– Послушайте, – раздражаясь, возразил Еремин, со стыдом чувствуя, как непоправимо смешон в эту секунду, но не имея уже сил остановиться – так глупо было отдавать трешку ни за что ни про что этой вот тетке, – послушайте, я потерял единый, честное слово, у меня был единый билет...

– Платите-платите, – оборвала контролерша и усмехнулась. – Потерял он...

– Да, потерял! – взорвался Еремин. – И пустите руку, вы что?

Контролерша держала уже не за рукав, а за мясо – убежать теперь можно было, только оставив ей на память трицепс.

– Люда! – пронзительно крикнула дама. – Скажи, пусть заднюю не открывает!

– Гос-споди... – простонал Еремин, предчувствуя падающий на его лысеющую голову гнев народный, – гос-споди, да что же за...

И, раздирая кошелек, выдохнул:

– Нате, нате вам вашу трешку!

– А вы на меня не кричите, гражданин, – победно пропела дама, отрывая квитанцию. И, распираемая собственной правотой, с наслаждением добавила: – Не взяли билет, надо платить

штраф, а кричать не надо. Люда! Пусть открывает заднюю.

Обратно в троллейбус Еремин не вошел; полыхая щеками, зашагал вниз по бульвару, а контролерши остались стоять на остановке – врозь, соблюдая конспирацию. Еремин хотел крикнуть им на прощанье что-нибудь обидное, но ничего не придумал, махнул рукой. Три рубля! И рука болит. Да черт с ней, с рукой, но трешка – шутка ли? Килограмм кабачков – или полкило слив, вон их как дочка уплетает... Что за жизнь, а?

У входа на рынок Еремин вступил в лужу, и это внезапно принесло ему какое-то злобное облегчение: уж пить чашу страданий, так до дна!

Сливы стоили уже девять рублей.

Сверкающий улыбкой сливовый князь нежно приподнял волосатыми пальцами иссиня-черный плод: красавцы, продавал за десять, но Еремину – только ему – уступит за восемь. Кило, два?

– Подождите... – пробормотал Еремин, ретируясь. Он прошел вдоль ряда – в одном месте сливы стоили семь, но вид был не тот.

– Дайте попробовать, – попросил все же Еремин.

Сливы оказались кисловатыми, да и хозяйка их смотрела несладко: хочешь – бери, не хочешь – не мозоль глаза.

– Спасибо, – выдавил Еремин и нарочито прогулочным шагом направился к тому, первому. Стыдно экономить на дочке, уговаривал он себя. Но восемь рублей!..

– Дайте-ка попробовать.

Сливовый князь смотрел со спокойной жалостью.

– А, проходи, да?

– Почему? – опешил Еремин.

– Ты не покупатель, – лаконично разъяснил князь и улыбнулся.

– Как хотите, – по-детски обиделся Еремин – и страшно вдруг разозлился: на себя, на князя, на отдел труда и заработной платы, на весь свет!

– Шестьсот граммов взвесьте! – сурово потребовал он, повернувшись к пареньку, торговавшему возле.

Паренек лучезарно улыбнулся, сноровисто положил на весы огромный лист бумаги и бросил сверху две сизые пригоршни. Стрелка нервно и неуловимо замоталась по шкале.

– Ай, давай на пять! – весело крикнул паренек, словно приглашая Еремина покутить с ним на пару, кинул на тарелочку еще одну сливину и подхватил бумагу с весов. Вся процедура заняла у юного иллюзиониста несколько секунд. Еще через несколько секунд Еремин запихивал в кошелек сдачу, понимая, что его опять надули.

Кто-то тронул за локоть.

– Сынок...

Старушка стояла у плеча – платок, пальтишко, рейтузы, красные стоптанные тапочки на птичьих ногах. Похожая на детскую ладошка ее была сложена горсточкой.

– Дай сколько-нибудь, сынок.

Еремин не сразу понял, что у него просят подаяния. А когда понял, похолодел еще больше, чем тогда, в троллейбусе.

– Что же вы так-то, а? – с тоской выдохнул он, пряча глаза, а пальцы уже перебирали в тесном отделении мелочь; выскользнула и, звеня, покатилась к прилавку монетка. Сколько дать, мучительно соображал Еремин, сколько, полтинник? И тут же вползло в мозг готовое на случай: вот, собираются, потом в рестораны ходят...

Еремин оставил в пальцах двугривенный, и вздохнул, и укоризненно качнул головой, и прицокнул даже – вечно страдаешь из-за собственной доверчивости! Короткий всхлип

пронзил его.

Еремин, повернувшись, увидел затравленные глаза, увеличенные крутыми стеклами очков, сморщенные ребеночки ручки.

– Не кори ты меня, сынок. Не давай ничего, только не кори-и-и...

Старушка зарыдала, уткнувшись в ладони-горсточки, завывала тихо и безнадежно.

– Вы что... Ну не надо. Не надо плакать, – испугался Еремин, и умоляюще коснулся маленького плеча, и огляделся.

В глазах паренька за прилавком светился интерес юнната, изучающего жизнь низших. Сливовый князь, возвышаясь над товаром, смотрел мимо. Он ждал покупателя. Не-покупатели его не интересовали.

– Не плачьте, – тихо и упрямо попросил Еремин. – Ну не плачьте, пожалуйста.

1987

**МЕРОПРИЯТИЕ ПО ЛИНИИ ШЕФСКОГО
СЕКТОРА**

– Ну почему я?

Дима Алямов заглянул в гладкое лицо Савельева, уже понимая: попался. И надо же было ему остановиться у этой стенгазеты! Шел бы сейчас домой по мягкому предновогоднему снегу и горя не знал... Но ничего изменить было уже нельзя, и оставался только этот беспомощный вопрос:

– Почему я?

– Ты у нас человек свободный, вот и будет тебе комсомольское поручение, – вальяжный Савельев развел руками: дескать, извини, дружба дружбой... – Сбор здесь, в десять утра. На собрании отчитаешься. – И ушел.

Только в метро Алямов сообразил, что мог придумать какие-нибудь семейные обстоятельства и преспокойно отбояриться. «А, черт! – Он снял шапку и зло стряхнул снег на эскалатор. – Целый день коту под хвост».

И конечно, вернутся они из этого детдома, или как он там называется, бог знает когда, и доставать колбасу придется в последний момент, и заехать к теще не успеют, и Настя будет дуться, и во всем будет виноват он, Дима Алямов, с его умением напороться на общественную работу тридцатого декабря и ехать хлебать детдомовского киселя, да не за семь верст, а подальше, часа два по Можайскому шоссе, будьте покойны...

«Шефский сектор, черт тебя дери, – раздраженно думал Дима, вспоминая освобожденного секретаря. – Вот сам бы и ехал, шефский сектор...»

В десять утра автобуса у институтских дверей не было, а возле коробок с игрушками стояла на снегу молодая женщина, совершенно Диме не знакомая.

– Вы Алямов? – улыбнувшись, спросила она, даже не спросила, а констатировала, словно это было и так яснее ясного.

– Алямов, – ответил Дима и подумал, что, может быть, все не так плохо.

– Мне вас описали очень похоже, – объяснила незнакомка. – Сергей Петрович пошел в местком. Бензина не дают, вечная история. Подождем?

– Подождем, – согласился Алямов. – А вы, простите...

– Я – Лена, из восемнадцатой школы. Мы тоже шефы.

– Дима, – представился Дима и подумал: «Интересно, как ей меня описали?»

В Алямове было сто восемьдесят пять сантиметров, но в нагрузку к этому дефициту природа выдала Диме легкую сутулость и невнятный подбородок. Алямов много бы дал, чтобы махнуть подбородками с Грегори Пеком, но тогда Грегори Пека перестали бы снимать в кино.

– Вы первый раз туда едете? – спросил Дима, исподволь рассматривая девушку. Лицо симпатичное, а с фигурой, пока в шубе, полная неясность.

– Во второй, – ответила Лена.

– А-а, – непонятно к чему значительно протянул аспирант.

– А вы в первый? – спросила, в свою очередь, Лена.

– Я в первый, – ответил Алямов, подумав ядовито: содержательный разговор.

Тут к ним подкатил старенький институтский автобус, двери со скрежетом отрылись, и плотный лысоватый мужчина, не выходя, сказал вместо «здравствуйте»:

– Давайте скорей, только игрушки не забудьте.

В автобусе было тепло.

Переднее сиденье занимали Сергей Петрович, его портфель и какая-то еще мадам.

Петровича Алямов знал давно, портфель его был известен всему институту, а мадам именинотчества не имела, Дима знал только, что она из месткома.

Проход был забит коробками. Алямов сел, придерживая рукой связку конструкторов. Перед ним у заиндевелого окна расположилась Лена. Под шапкой у нее обнаружилась мальчишечья стрижка, а под шубой – пара аккуратных холмиков. От накатившего волнения в Алямове разбежались нарзанные игольчатые пузырьки.

– Так, – сказал он, стараясь не смотреть на грудь новой знакомой, – и куда же нас повезут?

– А вы куда бы хотели? – живо откликнулась Лена.

– Я? – принимая игру, Алямов дурашливо свел брови. – Сначала, пожалуй, в Альпы... покататься... Потом пару недель в Париже... Ну и хватит на первый раз.

Месткомовская обернулась и внимательно посмотрела на Алямова. Лена вздохнула:

– Не выйдет.

– Почему?

– До Альп еще дотянем, а там автобус точно развалится.

– Неплохо, – оценил шутку Алямов.

– Правда? – Лена подняла брови. Глаза у нее были карие.

– Честное слово. – Алямов уже не жалел о поездке. – А вот разрешите вопросик. Что это за школа такая, где вы работаете? Что-нибудь спец?

– Угадали.

– А преподаете вы, Лена, что-нибудь романтическое... Литература?

– Слушайте, – заявила романтическая учительница, – раз мы с вами все равно разговариваем, может, пересядете сюда? А то у меня шея болит.

– Айн момент, – с готовностью сказал Алямов и начал перебираться через коробки, но автобус резко затормозил, и Алямов караморой растянулся на игрушках.

Тут Лена, Стрешнев и месткомовская работница среагировали по-разному. Стрешнев бросился на помощь Диме, месткомовская охнула и кинулась к конструкторам, и только Лена поступила как всякий нормальный человек, рядом с которым вступают в лужу или поскальзываются, маша руками: жизнерадостно рассмеялась.

– Ой, Дима, – сквозь смех повторяла Лена, – это я... это я...

– Хорошенький Париж, – хмуро заметил Алямов, отделившись наконец от игрушек и поправляя очки, дымчатые с наклейкой, предмет гордости. – Тут до Ховрино не доедешь... – И сел рядышком с учительницей.

– Ушиблись? – участливо поинтересовалась та.

– Пустяки, – ответил Алямов голосом Грегори Пека, только что уцелевшего в схватке с команчами...

Они заговорили: сначала о дорогах и шоферах, потом о зарплатах и нагрузках, потом еще о чем-то, и ниточка случайного разговора начала незаметно связывать их, досужих пассажиров старенького, пронизанного солнцем автобуса, летящего куда-то по утреннему Подмоскovie...

«Фантастика, – думал Алямов. – Еду с красивой женщиной, лапшу ей на уши вешаю... Свобода!» Алямов скосил глаза и обнаружил, что кольца у Лены нет.

Собственное кольцо Алямова не очень смущало. Не то чтобы он не любил жену – в общем и целом любил, но... Как бы вам сказать... Да вы сами все понимаете.

Алямов вспомнил одного знакомого, проходившего стажировку во Франции. Поедая салат, он рассказывал удивительное: у них там, мол, в порядке вещей подойти к незнакомой женщине и предложить ей провести вечер вместе, добавив по желанию слово «компле», что

у этих французов, представляете ли, означает – полностью. Ни больше, ни меньше.

Дожевывая веточку укропа, стажер погрузился лицом: кажется, ему от мира чистогана ни одного «компле» не перепало...

– Дима! – Лена снизу заглянула в лицо. – О чем задумались?

– А? Да так... – Алямов взглянул ей в самые глаза, и Лена взгляда не отвела.

Алямову было двадцать семь лет, и большую часть своей молодой жизни он потратил на науку и возненаучные маневры. Положение надо было срочно исправлять.

– Простите, Лена, я больше не буду отвлекаться, – сказал он и накрыл ее руку своей.

Автобус катился через совхозные владения – вдоль белых волнистых полей, по кромке застывшего леса, и этот солнечный день тревожил в памяти какую-то строку из школьной хрестоматии. Алямов давно не читал стихов и уже не помнил, когда в его ладони лежала рука молодой незнакомой женщины.

Лена рассказывала про своих первоклашек, и руки по-прежнему не отнимала. Попутчики привносили в происходящее аромат интриги, но у них, слава богу, хватало своих забот. Стрешнев достал из портфеля какие-то бумаги и тряс ими, что-то горячо объясняя.

Месткомовская слушала внимательно, покачивала крашеной головой.

«Бедолаги», – подумал Алямов, прислушиваясь к женской ладошке в своей руке.

Но все хорошее быстро кончается. Автобус притормозил и нехотя свернул с накатанного шоссе на проселочную дорогу. Там его сразу зашатало, затрясло, и Алямов свободной рукой по-братски обнял Лену за плечи: дескать, держитесь за меня...

Девушка отреагировала с пониманием.

– Ничего, Дима, – сказала она, – уже недолго осталось.

– Я потерплю, – скромно ответил Алямов, поражаясь своему остроумию.

Тут к ним, цепляясь за поручни, отправился Стрешнев.

– Подъезжаем, – сообщил он. – До обеда не успеем, так что вы займитесь подарками, все приготовьте, а мы с Нинстепанной – сразу к директору...

Алямов кивнул; такой разблюдаж его устраивал. Месткомовская со своего места пристально смотрела на Диму, но убирать руку с чужого плеча было уже поздно. Стрешнев вдруг вздохнул:

– Директор у них – пройдоха. – Лицо у Петровича стало при этом такое серьезное, что Алямов чуть не рассмеялся. – И что с ними со всеми делать...

Стрешнев пожал плечами и, цепляясь за поручни, отправился обратно.

– Знаете, – шепнула Лена, – он ведь сюда каждую неделю ездит. Правда-правда... – Она смешно затрясла головой вверх-вниз, и Алямов тихо задохнулся от нахлынувшего желания.

Впереди показались длинные желтые пеналы школы-интерната. Когда двери автобуса со скрежетом распахнулись, навстречу ему, утопая по колено в снежной целине, бежали дети.

– Елена Игоревна!

Несколько девчонок вцепились в шубку алямовской спутницы, а одна повисла на рукаве. Мальчишки прыгали вокруг автобуса; без шапок, пальтишки распахнуты; на голых шеях торчали стриженные головы. Взрослых рядом не было.

Алямов выволок огромный картонный ящик с подарками и остановился: после трех часов дороги надо было прийти в себя.

– Давайте поможем! – К Диме подбежали двое ребяташек и теперь прыгали вокруг от нетерпения и любопытства.

– Потерпите, – покровительственно улыбался Алямов, – потерпите немножко...

– Пусть помогают! – обернувшись, крикнул Стрешнев. – Ну-ка взяли кто чего дотащит – и в актовый зал! Леночка, посмотрите там...

Вокруг Алямова закишели дети; Лена, уже у дверей интерната, обернулась и весело взмахнула рукой. Продолжая наделять маленьких носильщиков всякой всячиной, Дима отсалютовал в ответ. Как в многосерийном фильме, самым сладким теперь было ожидание.

Наконец около Алямова остался только большеголовый мальчуган в синем не по росту тренировочном костюмчике.

– Дядь, – сказал он без знаков препинания, – у меня день рожденья было в ноябре. А тогда не привезли ничего обещали потом привезут привезли?

– Чего? – спросил Альбертов. Он вдруг понял, что забыл дома сигареты. «Стрельнуть бы», – подумал Дима, озираясь, но шофер куда-то ушел и вокруг никого не было.

– Привезли? – большеголовый глядел в глаза не отрываясь.

«Чего ему надо?» – с досадой подумал Алямов и сказал:

– Раз обещали – значит, привезли. Идем, замерзнешь...

– Не! – Мальчишка расплылся в улыбке. – Я не мерзну!

И поскакал рядом с Алямовым к актовому залу.

– Опять никого нет, – разводил руками Стрешнев, – одна уборщица. Увидела нас – послала детей за педагогами, в деревню. Вот безобразие, честное слово!

– Может быть, мы пока посмотрим школу? – Поджав губы, месткомовская посмотрела почему-то на Алямова. Тот почему-то – на Лену.

Школа была как школа, в классах – парты, в саду – крашенные под бронзу истуканчики... По сугробам между дорожек носилась ребятня, старшеклассники гоняли полусдутый мяч. Время от времени Алямов бережно поддерживал Лену – типа чтобы не поскользнулась, – но надолго обнимать не решался.

Когда они вернулись, у входа в спальный корпус рядом с Петровичем стоял высокий жилистый человек. Шапку человек держал в руке, другой рукой приглаживал ершистые волосы – и постоянно улыбался.

– Очень вас ждали, – услышал Алямов его блеклый голос. Лена стояла чуть позади; она нашла Димин взгляд и быстро указала глазами на говорящего: это и был директор школы-интерната номер семь. Не отвлекаясь от главной темы, Алямов улыбнулся Лене. Она невольно ответила ему и тут же опустила глаза.

Алямов глубоко вдохнул морозный воздух, расправил плечи и подумал, что возвратятся они в Москву часов в семь-восемь вечера, и будет еще совсем не поздно пригласить Лену куда-нибудь провести вечерок, не исключено, что и «компле» – черт побери, живем один раз!

Обедали вместе с детьми. Гвалт стоял невообразимый.

– Ну, Дима, как впечатление? – поинтересовался Сергей Петрович, раскладывая по тарелкам гречневую кашу из кастрюльки.

– Да-а, – неопределенно протянул Алямов и соорудил соответствующее случаю лицо, – интересное место...

– Вы из комитета комсомола? – Месткомовская смотрела изучающе.

– Нет, – ответил Алямов. Что любви меж ним и месткомовской не будет, он понял давно. «Еще вкнет чего-нибудь Савельеву насчет морального облика, – прикинул Дима. – Ну и что? Я поехал? Поехал! Что я им тут должен – деятеля изображать?»

Компот они пили молча. Рядом дети, с грохотом вставая из-за, кричали по слогам «Спаси-бо!». Невесть откуда появились педагоги: востроносая девушка в очках и крепкий парень в вишневом костюме, с сержантским голосом и золотой печаткой на пальце. Пару раз Дима поймал на себе взгляд «вишневого» – короткий взгляд, фиксирующий чужого.

«Ну вот, – облегченно вздохнул Алямов, выходя на воздух, – теперь – подарки и нахауз...»

Мимо быстро прошел Петрович, на ходу бросил:

– Я должен с ним поговорить, потом подойду...

«Шебутной он все-таки, – добродушно подумал Алямов, – носится и носится...» С Леной, вцепившись в ее шубку, шли две девчушки: под пальтишками у них виднелись все те же линялые «треники».

Алямов притормозил и пошел рядом. По дороге их, чуть не толкая, обгоняли возбужденные детдомовцы. Сегодня в школе-интернате номер семь был день рождения у всех, кто родился в декабре.

– Саша Мишин!

Налысо стриженный мальчик вылез на сцену под овации зала. На место он сел в обнимку с пластмассовой клюшкой в целлофане. Его сразу затеребили со всех сторон, а по ступенькам уже поднималась следующая именинница.

Месткомовская выкликала фамилии, Петрович отдавал кукол, мишек, конструкторы и наборы; зал, заполненный разновеликими обладателями линялых костюмов, громко торжествовал. Директор посматривал за порядком.

– Дисциплин-ка! – напоминал он, дежурно улыбаясь.

Воспитатель в вишневом костюме без перерыва играл туш на аккордеоне, но глядел тяжело: он был не вполне трезв. Лена сидела рядом, Дима посматривал на нее и изо всех сил ждал конца мероприятия. Иногда она ловила его взгляд и улыбалась одними глазами.

Без курева после еды было плохо; промаявшись еще с минуту, Алямов не выдержал и пробрался к директору:

– Простите, у вас закурить не будет?

– Найдём. – Директор почему-то подмигнул и, встав, широким шагом направился к выходу. Алямов, пригибаясь, пошел за ним, шепнув Лене «извини». На ты они перешли еще на улице, после обеда.

Затянувшись, Алямов с наслаждением выпустил дым и благодарно кивнул директору, а тот, разминая узловатыми пальцами сигарету, вдруг заговорил о недостатке фондов, о трудностях с кадрами и еще о каких-то не очень близких Алямову материях. Дима рассеянно слушал, пытаясь угадать время отъезда. Он уже устал от всего этого.

– Вы уж повлияйте на Сергея Петровича, а то... – директор развел руки, выдавив из себя еще одну улыбку, – больно он с меня требует. Мы ж люди подневольные...

Алямов опять кивнул, что можно было расценить двояко: повлияет – или просто понял

смысл просьбы. Это у Димы получилось как-то само собой, он даже не очень понял, о чем речь. «Интересно, что там с него Петрович требует?» – спросил было себя Алямов, но мысль эту до конца не додумал: раздача подарков завершилась. Месткомовская поздравила всех с Новым годом, детдом заулюлюкал в ответ, и кто-то крикнул «ура».

– Так! – директорский голос мгновенно снял все звуки. – Строиться по классам – и на самоподготовку! Восьмой класс убирает зал!

Он направился к сцене, а к Алямову, хихикая, робко подобрались несколько девочек.

– Здравствуйте! – сказали они, держась друг за дружку.

– Здравствуйте... – Димы пытался разглядеть в водовороте у сцены Лену, но видел и слышал только востроносую воспитательницу, строившую малых детей.

– Вы из Москвы? – выпалила самая смелая из подошедших. Остальные ждали с жадным интересом.

– Ну. – Алямов тоже ждал.

– А Пугачеву видели?

– Нет, – сказал Алямов.

– Жаль, – вздохнула девочка, – я от нее просто помираю.

Алямов улыбнулся как можно теплее. Произошла пауза.

– Можно я вам значок подарю? Спартаковский. Вы за «Спартак» – болеете?

Алямов пожал плечами. Петрович, Лена и месткомовская в компании директора вышли из зала и направились к автобусу. Ну, слава тебе, господи.

– Болеете?

– Да, – сказал Алямов, выбрасывая окурок. Он болел за ЦСКА, но соглашаться было легче.

– Нат. – Девочка решительно отцепила от костюмчика значок и протянула Диме. – Берите, берите...

– Спасибо.

– Пожалуйста. Вы к нам еще приедете?

– Наверное, приеду. – Надо было как-то заканчивать...

– Приезжайте.

Алямов посмотрел на девочек. Что-то неясное шевельнулось в нем.

– Спасибо, девчата. Ну, мне пора. Извините.

– А как вас зовут? – услышал он и обернулся.

– Дима.

– Приезжайте, Дима!

На дороге уже фырчал автобус.

Все складывалось как нельзя лучше.

Только начинало смеркаться; рука Алямова уже привычно и чуть крепче прежнего обнимала тонкое плечо, а Лена казалась взволнованной, что-то говорила про интернатских девчушек. Алямов слушал вполуха, и когда вдоль шоссе замелькали московские окраины, сказал негромко, словно эта мысль только сейчас посетила его:

– Слушай, ты никуда не спешишь? А то давай посидим где-нибудь?

Лена улыбнулась смущенно и благодарно, и Алямов уже успел подумать, что пойти надо будет в кафешку на Чистых Прудах, а потом завалиться к Пашутину и попросить его неназойливо слинять, – все это пронеслось в возбужденном мозгу точной шахматной трехходовкой, прежде чем он услышал ответ:

– Нет, Дима, ничего не получится.

– Почему? – Этого он почему-то совсем не ожидал.

– Меня дома ждут...

– Кто? – совсем уже глупо спросил Алямов.

– Гости. Муж, – просто ответила Лена.

«Так чего ж ты тогда, – возмутился кто-то в Алямове, – целый день мне голову морочила?»

– Жалко, – сказал он. Лена не ответила.

Автобус встал у светофора. Водитель щелкнул ручкой приемника; что-то заверещало, обрывки голосов и мелодий смешались в эфире и снова оборвались щелчком. Повисло молчание. Окаменевшая на чужом плече, его левая рука чувствовала себя идиоткой.

– Не сердитесь, Дима, – вернувшись на вы, улыбнулась учительница, и сквозь досаду Алямов пожалел, что не он ждет ее прихода, развлекая гостей.

– Что вы, Лена... – сказал он. – Муж – это серьезно...

Алямов шутил по инерции: разговаривать не хотелось. Тем более на вы.

– Спасибо за компанию! – сказала Лена, выходя у метро, а Алямов поехал дальше, слушая разговор Петровича с месткомовской о каких-то фондах, положении с обувью и одеждой...

«Вот тебе и “компле”», – с тяжелой досадой думал он. – Кретинизм. День впустую».

В институт Алямов заходить не стал, попрощался со всеми очень вежливо, и той же, что и вчера, дорогой отправился домой. Настроение было паршивое. В мрачных своих мыслях он чуть не проскочил гастроном, но, слава богу, вспомнил про колбасу, зашел и сразу, опытный боец, встал в очередь.

– Я отойду? – тут же спросила женщина, стоявшая впереди.

– Пожалуйста. А что там есть? – Алямов кивнул в сторону прилавка.

– Колбаса есть всякая; вареная есть... – Женщина начала прорываться к кассе.

– Ветчину днем не привезли, – обернувшись, пожаловался Алямову толстый дядька в шляпе. – Обещали – вечером привезут. Стою вот, жду.

– Понятно, – качнул головой Алямов, подумав, что где-то слышал сегодня похожую фразу... Где именно – он вспомнил уже на улице, когда шел к метро с добытой колбасой наперевес. Как он сказал, этот пацан?

«Да-да...» – Алямов вдруг отчетливо вспомнил утро, большеголового мальчика в «трениках», снизу, не отрываясь смотревшего в глаза, вспомнил свой ответ: «Раз обещали – значит, привезли».

«Ч-черт... – подумал Алямов, замедляя шаг по мягкому предновогоднему снегу, – а ведь

не привезли. Надо же, как неудобно получилось...»

Какое-то незнакомое чувство овладело Димой. Сегодняшний день, пустой и странный, начал собираться в картинку, как мозаика.

Он вспомнил детей, бегущих в стареньких костюмчиках по колено в снегу, без шапок, к автобусу, который привез из далекой сказочной Москвы людей и подарки, вспомнил смутный разговор о нехватке фондов изолотую печатку на холеной руке воспитателя, вспомнил девочку, подарившую ему бесценный свой спартаковский значок, – и поморщился от незнакомого чувства...

«Надо бы сказать Савельеву: есть же шефский сектор, пускай наведет там порядок. Скинемся, купим парнишке чего-нибудь...» – подумал Алямов, уже втайне понимая, что ничего этого не будет, потому что у каждого своя жизнь, и есть дела поважнее.

Алямов еще раз вспомнил об учительнице, о своей неудаче, и подумал, что так бездарно угробить день – это надо уметь...

На первой же остановке вышло пол-автобуса, и два волосатых школяра внесли с собой снегопад и дум-дум-дум, стучавшее в здоровенном динамике. Дима мотнул головой, окончательно вытряхивая лишние мысли. Пора было возвращаться в свою опрятную, отлаженную жизнь. Автобус летел по белому предпраздничному городу, дома ждала любимая, в целом, жена; сегодня что-то должно было решиться с путевкой на Домбай.

Дима поднял воротник и шагнул к дверям: на следующей он выходил.

1987

ШЕСТИДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА

Театральная быль

Раньше в нашем городе вообще театра не было – так жили. А потом обнаружилось: один член Политбюро идет по нашему округу, а встретиться с избирателями – нигде... Ну и отгрохали под это дело наш сарай на тыщу мест: мозаика, люстры, ковры – полный версаль, только звук до галерки не доходит. Хотя с нашим репертуаром, может, это и к лучшему.

Ну вот. А пятого с утра театр уже на ушах стоит, потому что из обкома сообщили: этот, из Политбюро, на родину едет, хочет встретить седьмой десяток Великой Октябрьской вместе с земляками. Репертуар, понятное дело, на хер пошел, режиссер красный бегаёт, корежит его, болезного: он у нас вообще со странностями... В театре, как всегда, бардак: того нет, этого нет, и все орут на помрежа.

А днем приезжают эти... мастера спорта в штатском, все, как из одного магазина, в серых пиджаках. Сразу началось: сюда не ходи, туда не ходи... С трех часов к театру не подъехать уже – везде «кирпичей» понаставлено, словно не концерт вечером, а склад боеприпасов нашли и будут взрывать. А посреди всего этого идет прогон – ну тот еще прогончик, на живую нитку, праздничный монтаж, полная порнография... «Пиджаки» по сцене гуляют, как у себя дома.

Через полчаса такого искусства с примой нашей, Люськой Павлевич, случилась истерика – удивительно еще, как она полчаса продержалась: отказываюсь, кричит, работать в таких условиях, ухожу из театра... «Пиджакам» это все, как слонам Моцарт: не надо, говорят, нервничать, гражданка, у вас своя работа, у нас своя, и давайте не будем. В общем, часам к пяти главный уже не кричит, не курит даже, сидит, в пространство смотрит, чистый сфинкс. Перегорел мужик.

Тут наш завпост появляется, Кузьмичев, спокойный, как кусок дерева, в часы пальцем тычет: пора, мол, президиум строить, бюст ставить, кумач вешать. Ему вообще все побоку, Кузьмичеву.

Я тогда у главного спрашиваю: мы свободны? Он рукой машет: гуляйте до полседьмого. Я говорю: зачем до полседьмого, в семь только торжественная часть, они же пока не выговорятся, мы все равно не начнем! Тут он чуть не плевать в меня начал – будто новые батарейки ему вставили, честное слово! Ну, хозяин – барин, в полседьмого так в полседьмого... Домой не поехал – толку туда-сюда мотаться? – пошел в буфет, а там уже весь театр, хорошо хоть сосиски остались. Взял, подсел к Михалюку – а тот еще злее меня сидит, у него из-за этой Великой Октябрьской халтура сорвалась, сорок рублей живых денег.

Тут меня черт за язык и дернул. Что, говорю, Иваныч, сыграем сегодня для начальства? Михалюк только этого и ждал. Я бы, говорит, им сыграл. «Малую землю», на баяне. Чтоб их совсем скособочило. Я, конечно, заржал, как идиот: я вообще смешливый, меня на сцене расколоть – нефиг делать. Ну и ржал, пока Маслову за соседним столиком не увидел. А как увидел ее, чуть сосиской не подавился.

Тут ее, профурсетку партийную, все заметили, кроме Федяшева. Этот вообще фишки не сечет, с рождения туповатый... Героям-любовникам вообще мозги не положены. Жора, спрашивает, а ты земляка политбюрошного нашего, товарища Харитоньева, из-за которого весь сыр-бор, ты его живьем видел? Тут Михалюк на бис выступил. Зачем, говорит, мне земляк. Я на его дружка бровастого каждый день в ящик смотрю.

В буфете заметно тише стало. И уже в тишине Михалюк (видно, на всякий случай, если

кто не расслышал) дружка изобразил. Похоже так изобразил, последние сомнения отпали.

Маслова сразу лицом закаменела. Как говорит наш знаток латыни, бутафор Константиныч, оближи свой ноблез...

– Георгий Иванович! – говорит.

Всего два слова сказала, а глядишь, не то что не смеется в буфете никто, не ест даже.

– Георгий Иванович, в чем дело?

– В чем дело? – переспрашивает Михалюк очень заинтересованно.

– Это я вас спрашиваю, – говорит Маслова.

– Меня? – Жора даже лицом посветлел. – Надо же, – говорит, – меня о чем-то спрашивают. Не иначе, к празднику.

– В чем дело, Георгий Иванович? – спрашивает Маслова уже совсем нехорошим голосом. Заело ее, никак с реплики соскочить не может.

– Понятия не имею, – говорит Михалюк. – Паш, горчицу передай...

Даю я ему горчицу, а тишина стоит – ой, думаю, намажут тебе этой горчицей...

– Хорошо, Георгий Иванович, – ласково говорит Маслова, взглядом всех переписывает и выходит. А за нею еще двое – у одной тоже ноблез облич, а у другого просто застарелая мания преследования.

И все, которые не выбежали, понимают, что в лучшем случае пойдут как свидетели.

– Ну и дурак же ты, – говорю я Федяшеву. А он только глазами лупит. Я ж говорю: герой-любовник. А Михалюк, чертов сын, сосиски жрет. Что это, говорит, с нашей партайгеноссе? Жора, говорю, тормози, ты сегодняшнюю норму уже выполнил.

– В гробу я их всех видал, – отвечает.

– Знаю, – говорю.

– Ну вот и славно. Приятного аппетита! – Тарелку отставил, лапищей по столу хлопнул – и отвалил.

Аппетита у меня, однако, не прибавилось. Посидел я еще чуток, потом думаю: надо за Михалюком присмотреть, вразнос пошел мужик.

Жора, слава богу, у себя в гримерке – сидит, курит.

– Сигаретки не найдется? – спрашиваю.

Он пачку мне подвигает, коробок сверху кладет. Покурили.

– Ну ты силен, – говорю.

Молчит.

– Ладно, – говорит, – проехали.

– Это точно, – говорю, а сам думаю: проехали – не проехали – это еще бабушка надвое сказала.

Пока мы эту пачку докурили, всех обсудить успели: и Маслову, и областное начальство, и московское, и про всех Михалюк какие-то особые слова нашел, просто удивительно!

За разговором этим мы самое интересное пропустили: Люську Павлевич свинтили все-таки! Только она в кожанке и с маузером наперевес из гримерки вышла – кто, мол, еще хочет комиссарского тела? – тут ее за руки и лицом к стене. Маузер бутафорский разобрать пытались. Крику, говорят, было!..

А мы с Михалюком это дело пропустили – не везет так не везет!

Ну вот. Почти докурили мы ту пачку – тут Федяшев, чудило кудрявое, в гримерку заглядывает как ни в чем не бывало: Паша, говорит, Иваныч, слышали? – после всего не уходите, угощение будет, в репзале стол накрывают! Откуда, говорю, стол – местком, что ли? Федяшев аж зашелся – это тебе, говорит, местком, а на остальных лично товарищ Харитоньев раскалывается – пайковую пищу жевать будем, Иваныч! Балычок, ветчинка, то,

се...

Михалюк, мелочи отметая, сурово интересуется:

– Водка будет?

– А как же! – взвизгивает Федяшев и аж гарцует вдверях, Ромео недорезанный. – Как же без водочки? Праздник, Иваныч! Держись.

И исчез.

Тут, признаться, гораздо нам с Михалюком веселее стало; Жора говорит: черт с ними, хоть какая польза... Тут как раз и антракт.

Пошли мы за кулисы – «пиджаков» никого нет, начальство в центральную ложу снялось – а у наших общее оживление, Федяшев, сорока, всем на хвосте разнес.

Отыграли мы концерт в хорошем темпе, без пауз практически. Михалюк Маяковского отгрохал, мы со Светкой быстренько порвали страсть в клочки, подхватили Жору – и наверх, поближе к репзалу. А там уже все, кто отстрелялся, похаживают, с Федяшевым во главе. А за дверью (не соврал, подлец) действительно готовится что-то – углядел народ и бабенку какую-то рыжую, крашеную, не из наших, и скатерку белую, и бог знает что на скатерке.

В общем, долго ли, коротко ли – дождались. Вышел откуда-то благообразный «пиджак» и говорит: мол, коллектив обкома и лично товарищ Харитоньев поздравляют вас, то-се, и приглашают, мол, откусать. Тут подлетает к нему рыжая, каблучками тук-тук, и что-то шепчет. И «пиджака» как корова языком слизывает.

Подождали мы немного – «пиджак» не возвращается, рыжая тоже. Михалюк говорит: ребята, держите меня, у меня слюноотделение началось. Тут всех как прорвало: действительно, чего стоим, уж пригласили, поздравили – пора!

Вошли мы, стол облепили – и понеслась! Минуты только через три заговорили, а до того – одна челюстная музыка... Федяшев на ветчину налег, Люська Павлович, как была в кожанке, балык целый с блюда подцепила и на тарелку себе – шлеп! – чтоб она на сцене так цепко работала... Михалюк Светке моей подливает – гляжу, а одна чекушка уже пустая. Ну и сам я, признаться, от всего этого прибалдел немножко: многое, что на том столе стояло, я только в кино и видел.

И вот ставлю я на место блюдо с мясом заливным, смотрю – Маслова! Тоже здесь, тварь старая. Ветчинку прибирает, и личико у нее при этом брезгливое необычайно. Понимать это надо так, что не в ветчине дело, и не в икре с балычком, а просто – не имеет права отрывать от масс.

А Михалюк после второй развеселился и опять шутить начал: братцы, говорит, слушайте, нам когда коммунизм обещали? К восьмидесятому? А он вот он уже, а вы не верили, дурачки... И еще говорит – мол, хороший человек товарищ Харитоньев, зря я его обижал; как думаете, говорит, если я ему каждый день с утра пораньше Маяковского читать буду – он меня на паек поставит?

Тут Маслова есть перестала. Не потому что наелась, и не от возмущения даже, а просто: все, как один, смотрят на нее. Слушают Михалюка, а смотрят – на нее. Жевать в такой мизансцене затруднительно.

Наконец до Масловой доходит, что если все равно не ешь, то надо проявить партийную позицию. И она встает. И только она встает, как мы слышим жуткий вопль от дверей.

Орет рыжая в чепчике. А рядом с нею стоит «пиджак» и хотя не орет, в глазах тоже ужас. – Вы что делаете? – орет рыжая. – Вы что? Вон отсюда! Вон!

Причем, что интересно, орет на Маслову, потому что мы все сидим, а Маслова стоит, как будто собирается, несмотря ни на что, произнести тост.

– Немедленно покиньте помещение, – говорит тогда «пиджак», и уж такой у него голос,

что из-за стола нас как ветром выносит. Федяшев, однако, ветчины все же напоследок уцепил и даже тяпнуть успел на ходу – удивительно шустрый юноша!

– Кто вам разрешил сюда входить? – орет крашенная. – Кто?

И мы все, как один, поворачиваем головы к «пиджаку», и «пиджак» издает протяжный стон, как Борис Годунов в одноименной опере.

– Не сюда-а-а... – стонет пиджак. – Вам – не сюда-а-а!

– Что же теперь делать, что делать, – квохчет рыжая, и прыгает вокруг «пиджака», и прямо руки себе заламывает. – Ведь сейчас придут же... придут!

Тут «пиджак» становится решителен, как майор, принявший дивизию.

– Ирина Евгеньевна, – чеканит он, – звоните на базу, пусть быстро везут новое. Это – убрать!

Крашенная испаряется, и «пиджак», повернувшись кнам, блеет речитативом:

– А вам – в буфете, там, та-ам... – И делает рукой широкий жест – не столько в сторону буфета, сколько куда-то вообще – к чертовой матери.

– А вот это вам, Георгий Иванович, так не пройдет, – шипит на лестнице, обгоняя Михалюка, Маслова. Лицо у нее красное, как транспарант, а глазки злые, но довольные – и я понимаю, что Жоре, кроме Леонида Ильича, будет пришито и коллективное поедание обкомовской ветчины.

Я гляжу на Михалюка, Михалюк – на Федяшева, а тот только глазками моргает, дитя невинное. Тут у меня начинается смеховая истерика с икотой. Я смеюсь и икаю, икаю и смеюсь, и никак не могу решить, с чем бороться сначала.

В буфете, действительно, накрыто: котлетка с лапшой, кусок хлеба, по стопке водки и треснутый маринованный помидор с краю. Разложено по тарелкам, как в детском саду.

Минуту молчания прервала Маслова.

– Что ж, – бодро сказала она. – Давайте садиться, товарищи! – И села первой.

– С праздничком, – отозвался Михалюк.

1988

Она сидела на краешке тахты и выла, комкая платок; давя раздражение, влезая в пальто в тесной, с покоробленными обоями прихожей, он успел удивиться: как его могло занести в этот сюжет, в эту квартирку...

– Я позвоню, – буркнул он, сбежал по лестнице вниз и распахнул дверь в слепящий зимний день, в свободу!

До поезда оставалось меньше часа. Черт бы ее побрал, подумал он, черт бы побрал ее с ее слезами и соплями! В окне застыла фигурка в свитере; он на ходу махнул рукой (не останавливаясь!) и быстро пошел сквозь квартал – от взгляда в спину, от тоски и нелепицы последних минут: о чем было говорить, все давно сказано, он не позволит себя шантажировать, никакого ребенка.

Он вдохнул полной грудью колкий воздух окраины, подумал: во снегу навалило, прикинул: сколько отсюда наступит? Трешка? Четыре? Надо бы поскорее.

Стоянка такси пустовала, пуста была и дорога. Сбиваясь на бег, он двинул к шоссе – там не такси, так частник, кого-нибудь поймать можно. Не останавливаясь, он выцарапал из-под пальто часы и только тут понял, как худо дело. Проклятый район, и не выберешься отсюда!

Нагребая в ботинки снега, человек бежал наискось – мимо заледеневших качелей, мимо мертвых гаражей; красно-черный, в крупную клетку, чемодан бил по ноге, в груди пекло – скорее, скорей!

По шоссе медленно катило такси; он крикнул, махнул рукой, метнул затравленный взгляд влево и бросился наперерез. С бешеным гудком пронеслась за спиной «Волга», но он успел проскочить и стоял теперь, хватая ртом воздух, на островке грязного снега. Такси укатывало вдаль.

– Сволочь! – крикнул он вслед. Время стремительно уходило, он чувствовал это и без часов – томительным нытьем в животе. Опоздаю, думал он, ненавидя летевшие мимо машины, опоздаю.

Рука устала, но он не опускал ее ни на секунду.

Колымага с почти стертыми шашечками на крыле резко вильнула и остановилась, визгнув тормозами.

– На вокзал! Опаздываю! Червонец!

Ну вот, подумал он, пристраивая к ногам чемодан, теперь от меня ничего не зависит. Он похолодел, нашарив пустой карман пальто. Но обошлось – бумажник лежал в костюме. Так можно и заикой стать, подумал он, разворачивая билет. Пятнадцать тридцать две. Эх, если бы хотя бы сорок...

– По кольцу поедem?

Таксист кивнул, повернувшись. Был он жирен, маленькие глазки сияли над небритыми щеками. Окорки рук в черных бухгалтерских нарукавниках тяжело лежали на руле. Ну и тип.

Пассажир откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, пытаясь расслабиться. Должны успеть. Он мысленно прочертил свой маршрут от стоянки такси до вагона, чтобы не дергаться потом, в цейтноте. Не надо было ехать к ней сегодня. Нет, надо! За неделю она бы устроила дел... А теперь? Он мотнул головой, отгоняя неприятные мысли. Позвонит жене? Вряд ли. Ладно, подумал он, время терпит. Кажется, терпит. До какого месяца делают аборт? Покосилась налево. Ну и тип.

Мелькнули часы у метро, но они спешили – свои он сверял, ошибки быть не могло. Проспект стремительно уходил за спину. Каждый светофор, без остановки улетевший назад,

был выигранным очком. Молчаливый таксист бросал машину в ничтожные просветы; внутри что-то скрипело, но разделительная полоса уходила под колеса и счетчик ритмично отщелкивал стометровки. Ну и колымага, снова удивился он. Интересно, сколько ей лет?

Резкое торможение бросило их вперед; красный глаз тупо уставился сквозь лобовое стекло. С досады он долбанул кулаком по ноге. Таксист усмехнулся, блеснув золотым зубом, пробурчал: успеем... Мигнул желтый; они рванулись с места и, выскочив на свободный ряд, первыми полетели вперед.

– Давно шоферишь? – спросил пассажир, пытаясь отвлечься от этой погони за временем.

– Не, – пробурчал таксист, не отрывая взгляда от дороги. – Вообще-то я лодочник.

– Чего? – недослышал пассажир. – А-а, на «Водном»?

– Ну да, вроде того...

Надо заранее достать билет, подумал пассажир. Лодочник, надо же. Почему лодочник?

Он снова вспомнил о ней: как позвонила утром, сказала «приезжай», он спросил, что случилось (хорошо еще, жены дома не было), а она снова – «приезжай, пожалуйста», а голос такой, что он сразу обо всем догадался. Сидела, как неживая, куталась в плед, как в кокон, когда заговорил о деньгах – заревела, а времени что-либо объяснять уже не оставалось совсем. Зря он вообще завел этот разговор об аборте. Главное, решил же отложить на потом – нет, дернул черт за язык! Никогда нельзя отступать от плана, никогда!

Проползло слева и сгнуло с глаз зеленоватое здание Склифа; ерзая от нетерпения, он не отрывал взгляда от выглянувшего шпиля высотки (там уже рукой подать!) – когда вдруг сдавило сердце; как не вовремя, подумал он, только бы нигде не застрять, только бы больше нигде не застрять!

– Сердце, – глухо говорит человек за рулем, на миг скосив вправо припухлый внимательный глаз.

Они мчатся по Садовому кольцу, с гудением уходит под машину белый пунктир, и впритирку начинают проноситься странные мысли: какое неприятное лицо у этого человека за рулем, что со мною, куда я еду, почему так ноет в груди, и эта испарина, и зимний день расплывается за лобовым стеклом?

– Значит, сердце, – говорит таксист.

Они въезжают под железнодорожный мост; грохот врывается в уши, чья-то рука рвет ему грудь – он не может ни вздохнуть, ни застонать от боли, он закрывает глаза, а когда открывает их –

...навстречу летит неровная, надвое рассекающая березняк проселочная дорога. Небритый человек за рулем напевает что-то на незнакомом гортанном языке, и сквозь гул пассажир слышит свой голос:

– Куда мы?...

– Тут короче будет, – не поворачиваясь, бурчит человек и снова принимается петь.

Стрелка спидометра мотается по шкале, и счетчик начинает вразброд выщелкивать цифры, похожие на годы. Колымага несется по пустой дороге.

– Где мы? – Человек не отвечает. – У меня же поезд!

Человек не отвечает.

– Куда вы едете?

Боли почти нет почему-то, но собственный вопрос доносится до него совсем издалека; березняк обрывается, дорога круто уходит вниз. Тяжелая рука переключает скорость.

– Послушайте...

Он смотрит на табличку с фамилией и осекается, прочитав. Лодочник, врывается в мозг. Лодочник! Нет, этого не может быть, этого же не бывает!

Но излучина реки уже сверкает на солнце.

И тогда он все понимает и начинает кричать. Он кричит, вжавшись в дверцу, пронзительно, на одной ноте. Потом крик переходит в скулеж.

Машина тормозит у переправы; лодку, покачивая, бьет о мостки.

– Я не хочу! – визжит он, закрываясь чемоданом. – Мне на поезд!

Рука в мелких черных волосинках выключает счетчик.

– Выходи.

Пассажир затравленно мотает головой.

Лодочник молча выходит сам. Пассажир вцепляется в дверцу обеими руками; сильный рывок выбрасывает его на морозный воздух. Красно-черный чемодан медленно, как в замедленной съемке, валится в снег. Черные полы пальто лежат на белом крыльями раненой птицы. Стоя на коленях, пассажир начинает зачем-то застегивать отскочивший замок. Пальцы не слушаются его.

– Идем.

Тяжелая рука на плече.

Это нечестно, кричит кто-то внутри, почему я? Я еще молод, я не хочу, у меня билет на поезд! Рука в бухгалтерском нарукавнике легонько толкает его в спину – вниз, к черной воде, на которой, скребясь о низкие мостки, покачивается одинокая лодка.

– Отпусти меня, – тихо просит пассажир. Человек пожимает плечами: ничего личного, план по перевозке...

А я, кричит кто-то внутри, как же я? Тропинка петляет сквозь молодой осинник, все это, как сон, но проснуться не получается. Ноги слабеют; поскользнувшись, он инстинктивно хватается за тонкий шершавый ствол – тот чуть пружинит под рукою, согревая ладонь. Весна! Будут лужи на асфальте, и шальной мартовский воздух, и женщины бабочками выпорхнут из зимних одежд... Как глупо, какая тоска, я не хочу в твою лодку, старик, отпусти меня!

Птицы взмывают над перелеском, сорванные хохотом лодочника.

На мостках, сжимая в кулаке монету, стоит женщина с бледным зареванным лицом. Широкая черная река мерно проходит за ее спиной.

– О-го-го, иду! – радостно кричит небритый старик и быстро ковыляет вниз.

– Стой тут, я мигом, – говорит он, обернувшись. – Знакомая твоя, вишь, раньше успела. В порядке, значит, очереди...

Вороны орут в небе. Ветер начинает раскачивать стволы. Еще не веря в спасение, человек в черном пальто, скуля и цепляясь за кустарник, бросается карабкаться вверх по склону – туда, где возле такси с распахнутой дверцей лежит на снегу его чемодан.

Там, наверху, он оборачивается. Лодка покачивается на середине реки, и лица женщины уже не видно. Визг уключин гонит его, падающего и тяжело бегущего прочь по снежной целине, настигает и снова гонит прочь, белое поле блестит и расплывается перед глазами, медленно превращаясь в залитый светом потолок...

Он любил стоять у окна палаты, глядя на медсестричек, перебегающих из корпуса в корпус в накинутых на плечи пальто. Дело шло к весне. Сердце почти не беспокоило его, и лечащий врач был им доволен.

Кроме жены и матери, никто больным не интересовался; только они да еще какой-то придурковатый таксист, вкативший однажды на своей колыхаге через ворота морга.

Ему ответили в окне справок, что состояние хорошее.

СИНДРОМ СТЕПАНОВА

Степанов ехал в троллейбусе с работы и вдруг вспомнил, как сжигали Яна Гуса. Вспомнил, как, ахнув, качнулась толпа за оцеплением, когда, потрескивая, занялся хворост, и вороний крик, взмывший над площадью, и самого Гуса – яростного, намертво прикрученного к тесаному столбу. В давке было трудно дышать, пахло потом и луком. Степанов вспомнил старушку, медленно идущую через площадь, ее мелкое глуповатое лицо и ветку хвороста в птичьей сухой лапке, гогот и улюлюканье толпы. А вот фразы насчет святой простоты, Степанов не помнил: да ее, кажется, и не было вовсе.

Гус молчал, пока, механически, творил ему отпущение бритоголовый детина с пятном от завтрака на сутане, и только когда пламя взметнулось по ногам, закричал что-то срывающимся голосом, но тут заголосили женщины. Через минуту пламя бушевало в полной тишине; люди начали расходиться.

Выйдя из троллейбуса, Степанов перешел через улицу, остановился прикурить, но зажигалка зачиркала вхолостую. Он потряс ее, но когда из ладоней выскочил наконец столбик огня, еще несколько секунд стоял, забыв про сигарету.

Что-то было не так.

Домой Степанов приехал совершенно разбитым. Заварил чай, сунул на всякий случай под мышку градусник, бухнулся в кресло, взял газету с кроссвордом. Прикрыл глаза. Кровь пульсировала в висках глухими толчками; в таком же ритме в осеннем Берлине, в тридцать четвертом, печатали шаги мускулистые ребята в униформе, и в сыром сумраке орал из репродукторов самозаводящийся фальцет.

Восторженно визжали фройлен в узких пальто. Возле Степанова стоял какой-то студентик и пронзительно кричал «хайль», не забывая посматривать, все ли кричат вокруг него.

Степанов поежился, вспомнив этот внимательный взгляд из-за стеклышек.

– Да, – вслух сказал он, и это означало, что все так и было: и истеричные фройлен со вскинутыми в приветствии руками, и песнопения (да-да, они там все время пели), и очкарик.

Он помнил это.

Степанов вынул градусник (тридцать шесть и восемь, и причем тут вообще градусник), пододвинул телефон и, посидев еще немного, набрал номер.

– Ну, Степанов, ты непрост, – рассмеялась женщина на том конце провода, когда он, смущаясь, рассказал о симптомах. Но, сменив тон, тут же успокоила: ничего страшного, давно описанное явление; все это Степанов слышал, читал, смотрел в кино, потом что-то подтолкнуло воображение (горящие листья на бульваре, шум крови в ушах), и началась неуправляемая цепь ассоциаций на фоне общей эмоциональной возбужденности пациента, о какой возбужденности ей, кстати, известно, как никому.

Женщина посоветовала пациенту принять таблетку феназепама, хорошенько выспаться, а наутро позвонить еще раз тому же врачу и пригласить врача в какое-нибудь хорошее кафе...

Поговорив еще в таком тоне, они повесили трубки, а в десять Степанов лег и проспал ночь без сновидений.

Проснулся он за несколько минут до будильника. Спать не хотелось, озноб прошел, голова была ясной. Вчерашнее ушло без следа.

«Интересно, что это со мной было?» – как о постороннем, подумал Степанов и попытался что-нибудь вспомнить. Вспомнилась девушка, которую он любил когда-то, запах ее волос и шепот – десятый класс, весна семьдесят второго. Вспомнился выездной детсад в

Подлипках, папа и мама, приехавшие на родительский день, начало шестидесятых, да – лето шестьдесят первого, как раз в тот день полетел Герман Титов.

Последнее, что помнил Степанов, был двор-колодец в районе Пироговки, сумерки и мама, зовущая ужинать. Дальше начиналось размытое изображение, невыученный урок из учебника истории, где римскому императору пририсованы со скуки очки с усами, но уже ни голосов, ни лиц...

«Как же так? – подумал Степанов. – Ведь я вчера все помнил. Я же все помнил!»

Острое чувство тревоги вдруг накатило на сердце – на секунду показалось Степанову, что от четкости фокуса, от ясности его памяти зависит что-то очень важное для всех.

Потом тревога ушла; Степанов лежал в постели, смотрел на разлинованный солнцем потолок и собирался с мыслями. Легкая тюлевая занавеска, поддуваемая ветром, чуть покачивалась, шуршала по ребру письменного стола. Потикивали часы. Впереди маячил рабочий день с тысячью маленьких неотложных дел; разнеживаться было некогда. С улицы доносились голоса, и один из них – резкий и чуть надсадный – показался Степанову знакомым.

Спустя час, маясь на троллейбусной остановке, он вспомнил: такой голос был у генерала Милорадовича, когда, рывками бросая коня по заснеженной площади, он кричал что-то угрюмому каре, застывшему в ожидании Трубецкого.

1985

КИНОТЕАТР ПОВТОРНОГО ФИЛЬМА

Я увидел ее у кассы, пока пытался дозвониться жене.

Она рассматривала афишу на апрель: зеленый распахнутый плащ, в тонкой руке – пакет (книжки, тетрадки, яблоко – вечный студенческий набор). Я еще успел подумать: надо же, до чего похожа – но тут девушка обернулась.

Это была она, и ей было девятнадцать, как тогда, вначале.

Двенадцать лет назад.

Я повесил трубку на рычаг. Стрельнув глазами, девушка знакомо сморщила носик: вот, мол, устался...

В дверной проем врывались свет и гомон улицы Герцена. От окошка кассы отлип долговязый парень с билетами в руке, улыбнулся, что называется – рот до ушей, и, запихивая в кошелек сдачу, шагнул ей навстречу.

Прошло еще несколько секунд, прежде чем до меня наконец дошло, что это – я сам.

Вам случалось внимательно рассматривать свои детские фотографии? Тогда вы знаете это ощущение: солнечный день с потрепанной карточки вдруг пронизывает вас теплом, и вы ясно вспоминаете и этот день, и это солнце, и старое пальтишко, – и все, что случилось потом, уместается в несколько сантиметров от вас до черно-белого прямоугольника, где весело скалится в объектив человек, которым вы были когда-то.

Взял билеты, оборачиваюсь, а она смотрит на меня и улыбается одними глазами. А глаза у нее знаете какие? Песочные, с крупинками янтаря – и когда она смотрит, кажется, что наступило лето; скорей бы укатить к черту на кулички, лежать на горячем песке у моря, и касаться друг друга, и падать в прохладную воду, и плыть рядышком...

Иногда я чувствую, что если сейчас же не поцелую ее, меня кондрашка хватит. Честное слово! А потом, никого и не было, только хмырь какой-то у телефона: главное, стоит и пялится – хоть бы трубку для приличия снял... Ну и смотри, думаю, дядя, завидуй, что тебе остается! И обнял ее еще крепче. А у нее щеки покраснели – симпатичная, сил нет! – и давай колотить мне кулачками в грудь – как фортепианными молоточками, ей-богу. «Да-да, – говорю, – войдите!», а она шепотом: «Вредина, ну вредина же!» – а у самой смешинки в глазах.

Я вспомнил этот день. Вспомнил фильм, на который мы тогда ходили, – ну конечно, он! Семьдесят третий год, конец первого курса, боже мой, сколько лет прошло! Семьдесят третий. Короткое замыкание, недосмотр небесного диспетчера – и вот они целуются, а я звоню жене и пялюсь на них, как старушка у подъезда.

Кино, потом бульвар, ее рука. «Родичи на даче...» – она сказала это, когда возвращались по Тверскому. Помню, как пересохло в горле, как мучительно долго тянулся поезд, и мы молчали, не разнимая рук. От метро до ее дома шли пешком, перешагивая сверкающие на солнце лужи, и сердце мое выпрыгивало из грудной клетки и кружило, как молодой сеттер, метров на десять впереди...

К столику, где над стаканами яблочного сока сидели парень и девушка, подошел человек.

– Можно к вам?

– Пожалуйста, – ответил парень и, напрягшись, бросил взгляд в сторону: столики вокруг пустовали.

– Спасибо.

Человек поставил свой стакан и сразу отглотнул чуть ли не половину. Парень и девушка переглянулись.

– Извините, – сказал незнакомец и улыбнулся, – вдруг, знаете, захотелось посидеть рядом со счастливыми людьми.

Лицо у парня закаменело, но в голосе человека – того самого, что паялся у кассы, – не было издевки, и парень только напряженно улыбнулся в ответ.

– Вот, Паш, – откликнулась девушка, – мы с тобой, оказывается, счастливые люди... – Глаза из-под мягких ресниц с любопытством изучали незнакомца, и он сделал еще один большой глоток.

И вдруг спросил:

– Хотите, я вам погадаю?

Парень усмехнулся.

– А вы умеете? – В голосе девушки звенела ирония.

– Да, – хрипло ответил он, и она, не раздумывая, протянула ладошку – легкую, хрупкую и почти прозрачную, как слюда. Человек помедлил, но девушка улыбалась, не убирая руки.

– Это не обязательно, – сказал он. – Я умею гадать по лицам.

Зачем эта встреча? Подписанное наверху – «исправленному верить»? Но что я могу изменить и что рассказать?

Что еще два года он будет ждать ее в метро с букетиком тюльпанов, что будут прогуливать лекции, бродя по привычным, как переплетенные пальцы, улочкам, по тихому, пронизанному солнцем Коломенскому, а зимой прятаться в кафешке, и он будет дыханием отогревать ее ладошки, два белых лепестка?

Что однажды эти глаза начнут избегать его, и разговор перестанет клеиться, и они промолчат всю долгую дорогу от «Темпа», где смотрели эту дурацкую комедию с де Фюнесом, и в наступивших сумерках ее рука будет лежать в его ладони неподвижно, и он сам отпустит эту чужую руку, а у дома она быстро скажет: «Ну, пока», – и войдет в подъезд, не оглянувшись?

Прошное налетело на меня, его горькая волна накрыла с головой, сбила с ног и потащила назад.

Рассказать, как встретились на следующий день, как пытались сделать вид, что ничего не произошло? Она была нежной, ее рука снова была теплой и живой, мы ели круглое, с островками варенья, мороженое из одной вазочки, мы смеялись, но ее уже уносило от меня, как уносит от Земли воздушный шарик, наполненный газом из шипящей трубки...

Потом были еще встречи и расставания, фильмы – хорошие и плохие, была холодная, нескончаемая зима и снова весна, но что-то уже сломалось непоправимо, имы оба чувствовали это. Я не мог сам отпустить тоненькую ниточку, связывавшую нас – у нее не хватало сил эту ниточку оборвать.

А может, она просто ждала, что все разрешится само собой?

Что рассказать еще?

Когда я вернулся из армии, мы встретились там, где встречались обычно, и медленно пошли рядышком вдоль университетской ограды. Рядышком, но не касаясь друг друга. Дошли до Ленинских гор; выбрали к ее дому. За это время я многое узнал, мы обо всем спокойно поговорили. Издалека напоминали, наверное, пожилую супружескую пару, совершающую вечерний моцион.

– Ну все, я пошел? – спросил я.

Она поглядела мне прямо в глаза – первый раз после нашей встречи – погладила по щеке и заревела. И я заревел тоже. Мы ревели, обнявшись на площадке возле лифта – и это было наше прощание.

– По лицам? – переспросила девушка и рассмеялась. – Интересно, интересно... Давайте по лицам. Ну? Что же ждет нас впереди?

Этой осенью Москва столкнула нас на улице.

Она была одна – по-прежнему одна. У ее золотистых глаз я увидел первые морщинки, и в самих глазах появилось новое выражение: еще не тревога, но первое предвестие, когда человек начинает слышать, как шуршит песок в его часах.

– Куда ты пропал? – спросила она, и мне показалось, что в голосе ее дрогнула обида. Раньше я звонил ей изредка – на день рождения и еще два-три раза в год, когда тоска накатывала особенно сильно. Звонил – и всегда заставлял дома вечерами.

Я объяснил, куда я пропал.

– Поздравляю... – сказала она. – В общем, у тебя все хорошо?

– В общем, да, – сказал я.

Площадь Белорусского вокзала – не лучшее место для разговора, час пик – не лучшее время. Да и говорить было уже не о чем.

– Звони, – сказала она, – не пропадай.

Позвонил я ей только под Новый год. Мы встретились, пошли в пиццерию – они как раз пооткрывались в тот год по всей Москве – взяли пузатенькую бутылку кипрского вина; я развлекал ее как мог, стараясь получше запомнить это усталое лицо. Потом мы ехали в метро, и ее рука иногда касалась моей, но поезд мчал по туннелю, и гул безнадежно ушедшего времени стоял над нашими головами. Я проводил ее, поцеловал в щеку и быстро пошел обратно – сквозь влажный сумрак, к светящейся шайбе метро. В груди оседал горький ком жалости и недоумения: все, что осталось от моей любви.

Резко затрещал звонок. Раскрылись двери; люди потянулись на сеанс. Парень нетерпеливо повернул голову: этот странный незнакомец раздражал и тревожил его. Раздражала затея с гаданием – парень не верил во всякую чепуху, а тревожило то, как улыбается незнакомцу девушка – его девушка с песочными глазами. Большие руки парня ерзали в карманах курточки.

– Послушайте, – волнуясь, сказал человек. – Я действительно знаю, что с вами произойдет. – И, подавшись вперед, заговорил торопливым шепотом. – Вы будете ходить в кино, отсиживаться в кафешках, бродить по улицам; поедете в Коломенское – вы ведь еще не были в Коломенском? Так будет еще четыре года – и счастливей этих лет у вас в жизни ничего не случится, это уж вы мне поверьте. А потом... – Он повернулся к парню и осекся, заглянув, как в зеркало, в эти раненные ожиданием глаза, до конца узнав это лицо, эти отпущенные под Леннона волосы, эту тайную неуверенность, эту привычку усмехаться, когда тяжело.

Другие – песочные, с солнечными крупцами янтаря глаза светились счастьем и тревогой, и мужчина не сразу отвел от них взгляд.

– Потом будет армия, – медленно подбирая слова, сказал он. – Потом вы встретитесь снова – семнадцатого мая семьдесят девятого года, вечером, на троллейбусной остановке возле метро «Университет» – и уже не расстанетесь никогда.

Он замолчал. Они молчали тоже. Их руки, сами найдя друг друга, были намертво сцеплены под столом.

– Семьдесят девятый... – медленно, словно примериваясь к вечности, проговорил

наконец парень. Ироническая судорога понемногу отпускала его лицо.

– Это гораздо ближе, чем вам кажется, – сказал мужчина.

– А потом, потом? – спросила девушка.

– Потом – еще не знаю. Честное слово, не знаю.

Мужчина перевел дыхание и принялся допивать сок, хотя допивать там было уже нечего.

Снова дважды протрещал звонок, и над столиком повисла тишина.

– А... А откуда вы знаете... – вдруг сказала она.

Мужчина отодвинул стакан и встал.

– Простите, мне пора.

– А...

– Этот фильм я уже видел.

– Подождите! – Девушка вскочила из-за столика. – Ну подождите же... Кто вы?

– Это трудно объяснить, – чуть помедлив, ответил мужчина.

– Да-а? – вдруг жалобно протянула она. – А можно, я... мы вам как-нибудь позвоним?

Он покачал головой.

– У меня нет телефона.

– Тогда запишите мой, – попросила девушка.

– Я запомню, – чему-то усмехнувшись, пообещал мужчина.

Девушка назвала цифры.

– Повторите.

Он повторил.

– Ну вот, – она вдруг радостно улыбнулась. – Очень простой номер, правда?

Он кивнул.

– Правда, все будет так, как вы сказали?

– Да, – ответил он.

– Обязательно позвоните, – попросила девушка. – Ну пожалуйста.

Уже у лестницы мужчина обернулся. Они смотрели ему вслед. Больше в фойе никого не было: начинался сеанс.

Выйдя на улицу, мужчина остановился, мотнул головой, глубоко вдохнул весенний уже воздух и коротко, нервно хохотнул. Потом достал из кармана сигареты, закурил. Он затянулся раз, другой, и пошел по улице, но у телефонной будки замедлил шаг и остановился.

Он постоял, поглядел на пустую кабину, медленно выгреб из кармана мелочь и нашел двушку. Зажав ее в потном кулаке, он стоял посреди тротуара, и прохожие, обходя, задевали его локтями.

ТАЙМ-АУТ
Повесть

Еще сквозь сон чувствую, что по мне кто-то ползает и без умолку лопочет.

– И-ир, – тяну я, стараясь, чтобы голос звучал как можно противнее. – И-ир, убери Чудище. Я так не играю...

– Чудище, – откликается моя половинка с нескрываемой любовью. – Чудище, кто это? Кто это дрыхнет в четверть десятого?

– Имка! – радостно отвечает Чудище, прыгая у меня на голове.

Имка – это я, и сегодня Имке больше не спать. Встаю и, сладко потягиваясь, издаю долгий звук несмазанной двери. С недосыпу меня мотает по комнате и бьет о разные предметы.

Мы с Ирккой состоим при Чудище уже полтора года. «Чудище» произошло от «Чуда» путем наблюдения за трансформацией наклонностей.

В настоящий момент это бывшее Чудо, слезши с кровати и открыв дверцы секретера, методично выбрасывает оттуда мои бумаги.

– Екатерина!

Услыхав официальное обращение, моя дочь, Екатерина Дмитриевна Скворешникова, пригнувшись, как под обстрелом, и вихляя попкой, начинает молча драпать к двери.

– Екатерина! – сурово окликаю я снова. Настигнутое Чудище останавливается и поднимает на меня свои невинные глаза. – Разве можно ЛЕЗТЬ В ШКАФ?

По глазам Чудища становится ясно, что никто в шкаф не лез. Разве может такой замечательный, послушный, милый ребенок лезть в шкаф?

– А кто это сделал? – спрашиваю я тогда с театральным жестом руки.

– Атя, – грустно признается моя честная дочь. Уходить от прямых вопросов она еще не научилась.

Я становлюсь на четвереньки, и бумаги мы собираем вместе. Мир-дружба.

На кухне, не переставая крутиться по одной ей известной траектории, Ирка сообщает: полдесятого, а еще не вскипело, не протерлось, не отжалось, не остыло, когда Чудище позавтракает, надо сразу идти гулять, иначе обедать она будет вообще черте когда, я не забыл, что сегодня зачет?

Я-то? Ну забыл.

Бухаюсь в драное кресло, открываю «склерозник» и выдаю утреннюю порцию звонков.

Звонок первый – Пепельникову: завтра сдавать текст! Не кручинься, Пепельников, ступай себе с богом, будет тебе три куплета к празднику, со слезой и историческим оптимизмом, только уж не обмани, родной, позолоти ручку... Ты видишь, Пепельников, моя муза уже зависла у антресолей, и в руках у нее, вместо лиры, обещанный тобою договор на двести рэ. И я, Пепельников, начинаю понимать, откуда столько оптимизма в советских песнях.

Нет на месте – ну и черт с тобой, позвоню потом, главное – кровь из носу начать сегодня! Дз-зынь!

– Алло!

– Дима?

Людмила Леопольдовна Косицкая – мой ангел-хранитель на грешной земле поэтического перевода: я ведь переводчик, черт возьми; связной культур, а не куплетист какой-нибудь!

– Здравствуйте, Людмила Леопольдовна!

– Здравствуй, Дима. У меня есть к тебе дельце. Но сначала выкладывай, какие новости...

Новостей уйма. Денег нет, за телефон не заплачено, надо купить картошку. «Ни дня без строчки» – это сказано прекрасно, но без учета реальности, в которую входят переезд с ремонтом. В августе закинул я своего Венслея на полку, и за два месяца так до него и не добрался. Ему-то что, он два века ждал... Но видит бог: разделаюсь с халтурой, заткну финансовую дыру и сразу осяду в библиотеке.

– Двигается помаленьку, – лукавлю я.

– Давай, милый, давай!

От радостного голоса Косицкой мне становится стыдно. Странно признаваться, но я до сих пор, как малец, боюсь огорчить ее.

Ну ничего, ничего... Как говорится, будет день – будет пища; авось и до Венслея доберемся.

А пока что под руками юлой вертится Чудище – и визжит, и кричит «Алё!», и желает лично повертеть колечко. Ирка ожесточенно натирает яблоко, и по ее съездившейся спине ясно, что в борьбе с этим стихийным бедствием, нашей дочерью, – каждый за себя.

– Извините, Людмила Леопольдовна! – кричу я, не слыша собственного голоса. – Я потом позвоню.

Будет у меня здесь нормальная жизнь, а?

– Катя, у тебя есть свой телефончик! Этот телефон НЕ НАДО ТРОГАТЬ!

Чудище немедленно начинает кривить ротик и, не забывая поглядывать в мою сторону, выдает на-гора Очень Горький Плач.

– Ни капельки не жалко! – безжалостно уверяю я. – Ни ка-пель-ки!

Чудище с воем топочет к маме.

– Кто обидел мою девочку? – не переставая тереть яблоко, интересуется мама. – Кто?

– Имка, Имка!

– Нехороший Имка. Мы за это не дадим ему тертого яблочка и вкусной каши!

Через минуту ябеда сидит перед тарелкой и радостно размазывает содержимое по доступным предметам.

Десять часов, а день еще не начался. Куда-то я еще должен был позвонить, кроме... И раньше, чем вспоминаю, куда, уже ищу на холодильнике коряво записанный карандашом номер: Пашка!

Господи, а я-то забыл. Пашка.

Медленно накручиваю диск, уже зная, что нажму на рычаг, прежде чем начнутся гудки. Что говорят в таких случаях? И что им теперь мои слова?

Года три назад одна моя знакомая притащила в Институт белобрысого пижонистого акселерата с кожаным шнурком на шее и тетрадкой в руках. Акселерата звали Паша. Поглядывая на меня с холодноватым интересом и в буквальном смысле слова сверху вниз, он отдал тетрадку, записал мой телефон, бросил «чао» и отчалил, помахивая спортивной сумкой.

В общем, нахал.

Стихи его, аккуратно переписанные печатными буквами с редкими островками вымарок, я читал не без ехидства. Стихи были жутко вторичные – что-то такое о жизни, в которой все обман, кроме горных вершин. В общем, сопли.

Он позвонил, как договаривались, через неделю, мы сели в метро, и под шум поездов я полчаса безжалостно обгладывал косточки его строк – почти дословно повторяя выражения, в которых лет за десять до того один маститый поэт демонстрировал мне мою поэтическую немощь. Сержант, вымещающий собственные курсантские унижения на новом наборе. Акселерат сидел бледный, молчал. Один раз, переусердствовав, я поймал на себе взгляд,

полный такой затравленности, что сбавил обороты.

На прощанье я милостиво предложил показывать мне то, что он будет писать. Мне понравилось быть мэтром. И вообще, сказал я, не стесняйся, звони. Он кивнул и стал запихивать в свой баул тетрадку. Тетрадка не лезла, и акселерат с силой и ожесточением ударил по ней.

Я думал, больше он не объявится.

Но он объявился – и пригласил меня на какую-то вечеринку, где должен был петь какой-то никому не известный, но, разумеется, гениальный бард. Я отказался; мы разговорились. Суждения его, в отличие от стихов, были оригинальны. Вскоре Паша стал моим приятелем.

Стихов своих он мне больше не показывал, и это меня, кстати, задевало.

Однажды он таки вытащил меня на сборище московских инопланетян конца шестидесятых годов рождения. Инопланетяне рассматривали меня с живым интересом естествознателей к неплохо сохранившемуся реликту. Юный гид, сидя в уголке, тихонько посмеивался в намечающиеся полоски усов.

Так, то исчезая, то появляясь на моем горизонте, белобрысый акселерат удивлял меня до тех пор, пока однажды, уже первокурсником журфака, не пригласил на свои проводы в армию. Я пообещал ему массу новых впечатлений – он пообещал поделиться ими через пару лет.

И вот я сижу в коридоре с аппаратом в руках и собираюсь с мужеством, чтобы набрать номер. Перед тем как отпустить диск в последний раз, делаю глубокий вдох и выдох.

– Да.

– Здравствуйте, Лев Яковлевич. Это Скворешников.

– Кто? – голос у Пашиного отца бесцветный и резкий.

– Скворешников. Я был у вас на Пашиных проводах. В армию. – Я не знаю, как еще объяснить, кто я.

– Да-да, – пауза. – Пашу, наверное, привезут завтра. – Пауза.

– Лев Яковлевич, я утром позвоню?...

– Да, конечно.

Мы молчим еще несколько секунд.

– Хорошо. До завтра.

Трубка молчит, словно пытаюсь понять, что я нашел хорошего. Потом начинаются гудки.

На кухне Ирка, изнемогая, читает «Тараканище», Чудище плюется кашей, дирижирует ложкой и требует всех благ.

– Твоя дочь надо мной издевается! – чуть не плачет Ирка. – Скажи ей, чтобы съела. Ты отец или не отец?

Я отец и поэтому точно знаю: если Чудище чего не хочет, значит, так тому и быть.

– Ир, – говорю я, – оставь человека в покое. (Заодно имею в виду и себя.)

Начало одиннадцатого. Надо срочно соображать, как жить дальше. Подумав, соображаю, что для начала надо умыться. Из зеркала на меня глядит отупевшее от недосыпа, небритое существо неопределенных лет и занятий. Три пригоршни холодной воды скрашивают картину не сильно.

На жужжание электробритвы в коридор прибегает счастливое и грязное Чудище; Ирка, измочаленная утренней борьбой, сидит в кресле с учебником, у нее сегодня зачет, ха-ха.

– Никто, никто не приготовил Ирочке завтрак, – печально сообщает она.

Намек понят, и я начинаю отрабатывать свои утренние сны. Я шурую в холодильнике, одновременно излагая диспозицию: завтра с утра, возможно, похороны Паши. Поэтому за деньгами и в редакцию надо успеть сегодня. Посему – завтракаем, гуляю с Чудищем и рву

когти. К шести возвращаюсь и отпускаю женушку сдавать зачет.

Казавшееся бескрайним пространство свободного дня неожиданно оказывается крохотным и безнадежно забитым.

За столом молчим. Ну, стол – это громко сказано, стол в нашу кухню не войдет; в общем приткнулись, жуем. Ирка устала в учебник, не выспалась еще больше моего, бедолага. И просвета не видно. Не отвлекаться! Одну строфу для Пепельникова надо бы соорудить во время гулянья – может, дальше полегче будет. Главное начать...

– О чем задумался, Имка?

– Так, – говорю. – Двести рублей привиделись.

– А-а.

Ирка понимающе хмыкает, и есть над чем. Женихаясь, я строил из себя чистого интеллектуала. Я бы, собственно, и сейчас не против – но чистыми чистый интеллектуал получает сто восемнадцать в месяц...

– Дзынь!

Мама, привет, у нас, как всегда, замот. Да нет, все в порядке. Чудище здорово – еще как! А у вас? Более-менее? Ну хорошо. Мам, все, извини, бегу.

Доглатываем чай. Без двадцати двенадцать. Аврал! Ирка, заговаривая Чудищу зубы, впихивает ее в комбинезончик, я споласкиваю чашку, хватаю тетрадку, ручку и нахожу «рыбу».

Дз-зынь!

Витька, старик, жутко рад тебя слышать. Ты сегодня дома? Я позвоню, ага? А то сейчас тут все кувырком. Извини. Ну, хоп.

– Димка, скорее, она уже парится!

– Я вот он!

Запах прелой листвы и свежего намокшего асфальта ударяет в ноздри. Засадив Чудище в песочницу, примощаюсь рядом в развилке дерева, вынимаю тетрадь. Наши цели ясны, задачи определены... Вперед!

Вот она, моя «рыба»: бу-бу-б'у, бу-бу-б'у, бу-бу-б'у-бу. Трехстопный анапест, чудненько! А про что, интересно, это бу-бу? Как сценарий-то называется? «Могучая поступь державы». Отлично, как раз в размер попадает. Строчка есть.

Для скорейшего прихода вдохновения представляю себе восемь новеньких двадцатипятирублевых.

«И могучая поступь державы...»

Ну, понеслось. Это будет третья строчка. Теперь нужен глагол. Что может делать поступь? Греть может, идти... Нет, идти поступь не может. Слышаться? «И могучая поступь державы на такой-то планете слышна». На какой? На зеленой планете слышна. Почему на зеленой? Вообще-то Земля голубая, но голубая не влезает в размер. «На прекрасной планете слышна». О!

Перечитываю: железобетон, а не стихи. Значит, годится.

Засим объявляется конкурс на лучшую рифму к слову «державы». Ржавый. Спасибо, не надо. Пижама. Отцепись от меня! Пожары. Уже тепло. А что в четвертой? «Слышна»? Это полегче. Княжна нежна, мощна страшна. Времена, стремна, племена, семена, пламена, вымена – тьфу!

А ну-ка с разгону: «бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу пожары, бу-бу-бу-бу, на все времена, и могучая поступь державы...»

Тут, на самом патетическом месте, меня настигает сигнал бедствия. Чудище стоит в песочнице с подозрительно задумчивым видом. Бросаю тетрадку, лечу на помощь, успеваю

высадить дите под кустик. Теперь бы снова замкнуть дочурку на песочницу и добить строфу.

Я перечитываю написанное и тихо матерюсь. Как не крути, а если могучая поступь слышна всей планете, это – землетрясение. Вздохнув, превращаю могучую поступь в мирную и снова топаю от печки: «бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу пожары, и отныне (молодец, Димочка!) на все времена будет мирная поступь державы на прекрасной планете слышна!»

Теперь осталось разобраться с пожарами, и строфа готова. Последним напряжением бровей рожаю катастрофическое «отгорели сражений пожары...» – и сажусь перечитывать написанное со škодливым чувством безнаказанности: моей фамилии под этим ни в каком случае не будет, подпишусь, по месту жительства, Бескудниковым – и концы в воду. Настроение заметно улучшается.

Полпервого, пора и честь знать. Мы медленно шагаем к подъезду. Чудище крепко держит меня за палец. Дома, стараясь не замечать дыма коромыслом, я забрасываю канцпринадлежности в «дипломат».

– Ир, – напоминаю уже от дверей, – буду к шести.

Ирка кидает на меня прощальный взгляд, одновременно декламируя считалку, раздевая Чудище и принимаясь к запахам на кухне. Бедняга, как она со всем справляется? Мелькнув, этот вопрос исчезает без следа, едва я снова вылетаю на воздух. Теперь сначала получить деньги, потом в редакцию – и на телефонный узел. Вперед, вперед!

До метро из наших губерний ехать полчаса, надо провести их с пользой. Было бы нехудо, например, забалать еще одну строфу. Но, как ни тужусь, не могу вспомнить даже ту, что забалал утром. Помучавшись, выбрасываю белый флаг, тупо разглядываю расставленные вдоль шоссе натюрморты... Автобус трясет, и болит изнасилованная моя голова, и медленно ворочаются в ней култыпки мыслей – о протекающем кране, о телефоне и справке из ДЭЗа, о рублях, которые должен я и которые должны мне; вспоминаю, что так и не позвонил Косицкой.

Пашина смерть внезапно является мне в страшной своей ясности: вот я еду в автобусе, поручень холодит ладонь, за стеклом рыжий сентябрьский день – а его нет и никогда не будет больше.

К конечной я засыпаю и просыпаюсь только на улице от собственной неровной походки. Надо, черт возьми, когда-нибудь выспаться!

Институт, в котором я получаю свои аспирантские денежки, прячется в старом особнячке с аккуратной табличкой у современных дверей. Особнячок совсем маленький, но чтобы добраться до кассы, надо преодолеть несколько простых лестниц, одну винтовую и пяток коридоров самой прихотливой геометрии.

У окошка, разумеется, очередь – первый день выдачи. Делать нечего: становлюсь в хвост, вынимаю тетрадь и перечитываю четверостишие про мирную поступь. Острое желание схватить автора этой бредятины за грудки и долго бить об стену головой вспыхивает во мне. Потом вспоминаю, что автор – я, и всякое желание пропадает вообще. Понимаю, что дело худо, и возбудить себя на продолжение никакой поступи мне не удастся.

– Работаете? – с уважением интересуется вставшая позади полноватая дама, кажется, с немецкой кафедры. Я киваю, улыбаясь рассеянно, как и полагается художнику в минуты полета духа. Мгновение сатана подначивает меня показать этой специалистке по трубадурам, над чем я работаю – и посмотреть на выражение ее лица, но я подавляю искушение.

– Не буду мешать, – интеллигентно произносит дама и понимающе улыбается. Ну-ну...

Тут я вспоминаю, что еще не позвонил Пепельникову и, застолбив место в очереди, бросаюсь бежать по коридорам. Через пару минут достигаю вахты.

Вахтерша на просьбу позвонить с казенного аппарата только что не рвется с цепи. Ладно,

удавись ты у своих ключей, у меня двушка есть.

– Алло! Пепельникова будьте добры.

– Секундочку.

В трубке – веселый женский смех и сладкий баритон, на ходу досказывающий соленькое.

– Слушаю... – говорит наконец баритон, поигрывая в нижних регистрах.

– Это Скворешников. Здравствуй, Костя.

– А, Димочка. Привет-привет.

Разговаривает со мною Пепельников так, словно он артист оперетты, а я его поклонница и каждый день встречаю у дома с букетиком нарциссов. Между тем, мы всего лишь бывшие одноклассники.

– Я по поводу песни.

– Жду, Димочка («Почему Димочка?»). Жду с не-тер-пе-ни-ем.

Я почти вижу, как он подмигивает девочкам в персональном, обклеенном собственными афишами кабинете.

– Послезавтра тебя устроит? – спрашиваю.

– Крайний срок, Димочка, – снисходит он после паузы.

– В общем-то, почти все готово, – говорю. – Но хотелось бы еще поработать...

Черт возьми, чего я расшаркиваюсь!

– Поработай, – снова снисходит постановщик юбилейных концертов, и мы прощаемся.

На душе гадко. После пепельниковского баритона хочется вымыть уши. И вообще – получу двести рэ (тьфу-тьфу!), и больше на эти кисельные берега – ни ногой!

– Спасибо, – осклабляюсь я вахтерше, и под глухое рычание в спину бегом начинаю третье за день восхождение – у нас хоть и доцентура, Веймар и «озерная школа», а пропустишь очередь – простишь второй раз как миленький!

Успеваю впритык – хорошо хоть бежал не зря – и с нежнейшей улыбкой всовываю голову в амбразуру. Никому не улыбаются так, как кассиру в день выдачи. Расписываюсь, отхожу, чтобы запихнуть бумажки в кошелек, – и попадаюсь. Тонкий знаток Джона Рида, доцент Копылова вцепляется в мой локоть железной лапкой и не отпускает до тех пор, пока я не перекидываю из ее сумы в свой «дипломат» увесистую папку – на рецензирование. А куда прикажете деваться? Доцент Копылова проедает плешь за пять минут, это проверено. Отобьешься – проест ее твоему научному руководителю, завкафедрой, далее везде. Лучше не связываться.

«Очень срочно». А папочка – кило на полтора!

Ладно, черт с ней; теперь – в редакцию!

Но не тут-то было: на винтовой лестнице в мой локоть опять вцепляются. Прошу любить: наша профсоюзная жрица, Тинатина Константиновна. Эта могла бы и не вцепляться: при ее комплекции разминуться с ней на винтовой лестнице невозможно.

Здравствуйте, Тинатина Константиновна. Почему не бываю на семинарах политпросвещения? Так я же газеты читаю, первоисточники регулярно... Недавно ехал в метро рядом с Сейфуль-Мулюковым. Тинатина Константиновна, драгоценная, ребенок у меня – ма-аленький такой ребенок, а работы – мно-ого... Завтра в Дом дружбы? А почему я? Знаете, я, может быть, не смогу, я занят, у меня... Вы что, какое поручение? Зачем? Да постойте же!

Тинатина удивительно легко для ее весовой категории завинчивается наверх, а я, постояв, свинчиваюсь вниз в самом отвратительном настроении. Везунок, а? За пять минут влипнуть в две работы! Не пойду я ни в какой Дом дружбы – со мной скоро собственная

жена дружить перестанет...

Ну ничего. Зато...

Зато я везу в редакцию довесок переводов, и это только повод для визита. А тайная сладость его в том, что у них давно лежит подборка моих переводов, и недели две назад ушла подборочка наверх...

Фурман, как всегда, еле высовывается из-за горы справочников и словарей: привет, садись, я тут вожусь со Стенли Пирсом, роман толстенный, идет в первый номер, сумасшедший дом, ты не обращай на меня внимания, Сережа сейчас будет.

Сижу, не обращаю внимания.

Вскоре приходит Сережа – у него на столе то же, что у Натана, только гора чуть поменьше. А, привет, говорит Сережа, садится и с неподдельной занятостью начинает перекладывать бумаги с места на место. Мне это сразу ужасно не нравится.

– Я тут принес еще переводы, как договорились, – издалека подъезжаю я.

– Переводы? Давай, – говорит Сережа, но энтузиазма в его голосе нет.

– Там ничего не слышно насчет моей подборки? – небрежно спрашиваю я, уже холодея от полного прозрения.

– Забодали, – коротко констатирует Сережа, сочувственно разводит руками, и в правой ладони откуда возникает моя папка.

– Понятно, – говорю я по возможности непринужденно. И не выдерживаю: – Почему?

– Да нет, переводы качественные, Ларионовой понравились...

Из бумаг выныривает Натан.

– Тебе просто не повезло, – вступает он своим тягучим голосом. – Тут приходил Млынаев, принес главному подборку – те же имена. Ну и сам понимаешь...

Как не понять!

– Что ж, если Млынаев. – Хмыкаю, изображая стойка, коллекционирующего громы небесные. И снова не выдерживаю тона, язвлю: – Наверно, хорошие переводы...

Фурман отвечает мне взглядом, полным неподдельной тошноты.

– Ты приноси что-нибудь еще, – оживляется Сережа. – Вообще, всем нравится, как ты работаешь.

– Я ношу, – отвечаю я.

– Дима, это нормальный ход вещей, – бубнит из-за своей горы Фурман.

– Ясно, – говорю. – Ну, побежал. Счастливо.

– Заходи, – виноватым голосом приглашает Сережа.

А, подите вы ко всем чертям! Почти выбегаю из редакции. Я ведь уже будто видел страницу со своими переводами, и даже, дурень, намекал друзьям: мол, следите за прессой... Дурень – дурень и есть! Ну что ж за невезение такое?

Начало пятого. Можно еще успеть на телефонный узел, но устал, а главное – видеть никого не хочу.

На лестничной площадке темно, и, прежде чем попасть домой, долго тычу ключом в замочную скважину.

– Дима, скорее переодевайся, обед на плите – мне лучше уйти, пока Чудище не проснулось...

За обедом получаю инструктаж: чем кормить, в чем гулять, чего не забыть, а о чем, наоборот, и не вспоминать, например, о своей тетрадке; ты уж позанимайся с ней, порисуй, почитай, не обижай мою дочку, Имка, она хорошая, все, привет, к черту, к черту...

Только закрываю дверь, как из комнаты раздается протяжный скрип: началось.

Чудище сидит в кровати, щурясь от яркого света, и обиженно посасывает соску. Она,

кажется, еще не очень понимает, где она и что с ней, но постепенно обнаруживает вокруг себя знакомые предметы и успокаивается. Все на месте. Можно жить. Теперь надо срочно вспомнить, что с нею делать, с моей дочкой. Впрочем, через пару минут она все равно делает, что хочет: поит компотиком игрушки, мои штаны и кресло, бегают по квартире с огромным ломтем сыра и орет от полноты жизни. Под шумок пытаюсь прибраться, но вместо мусора под щеткой постоянно оказывается ее сияющая физиономия.

– Катенька, хочешь мармеладку?

Катенька хочет мармеладку. Успеваю хоть со стола вытереть.

– Ущё!

– Больше нельзя, Катя.

– Ущё-ё-ё!

Вот он, наш фирменный ультразвук. Глазищи угольками, кулачки сжаты, мордочка от возмущения красная – одно слово: Чудище. Мармелада не даю. Откупаюсь чтением стихов о двух девочках, которых хлебом не корми – дай поухаживать за растениями.

– Чтобы выросла капуста,
Это целое искусство.
Утром встанем-ка, ребятки,
И проподем наши грядки! —

декламирую я, давась текстом.

– Ущё чутать это.

– Катенька, мы это уже прочли.

– Ущё чутать это!

Читаем ущё, потом ущё.

– А где лошадка? – пытаюсь незаметно слинять, озабоченно спрашиваю я. Номер не проходит, и прежде чем удастся улизнуть из комнаты, я четверть часа работаю коверным. Потом шмыгаю в ванную и запираюсь. Отжимание подгузников успокоит мои нервы, поврежденные девочками-растениеводками. Полмиллиона экземпляров. У-у, халтурщики!

Привожу в порядок и мысли. Во-первых, сегодня надо сильно продвинуться с халтурой: завтра времени не будет, а послезавтра сдавать. Во-вторых, до конца недели прочесть этот талмуд – ну не прочесть, проглядеть для рецензии, а то Копылова заест. В-третьих... Что-то еще было в-третьих, надо обязательно вспомнить!

В-четвертых, слетела подборка. Зашел к главному Млынаев, который и русского-то языка не знает, отдал свою рукопись – и моя, целый год смиренно ползшая к печати, походя давится редакторским сапогом. «Нормальный ход вещей». Огнемета на вас нет.

Выйдя на кухню с тазом белья, вижу Чудище, с интересом изучающее содержимое помойного ведра.

– Екатерина! – ору я нечеловеческим голосом.

В ответ с нагловатой улыбкой всеобщей любимицы Чудище извлекает из мусорных недр фантик и протягивает мне. Кажется, это взятка.

– Ах так?

Слова кончаются. Я хватаю нахалку под мышки и несусь в комнату – Чудище вопит и извивается дождевым червяком. Пытаюсь поставить ее на ноги, но она мешочком валится на пол и заходится от плача. Макаренко из меня, прямо сказать, хреновый. Пожираемый змеем раскаяния, я сбегая на кухню, пускаю по сильнее воду и принимаюсь четвертовать картошку.

Ох, отольются папе дочкины слезы... Сметаю очистики в ведро, вожу по столу губкой, мою руки, вытираю посудным полотенцем – черт с ним, Ирка не видит!

У двери в комнату слышу такую пронзительную тишину, что на спину выбегает сразу стая мурашек. Влетаю – так и есть. Чудище добралось до отвергнутой папки – придя, я в сердцах шлепнул ее на край стола. Мои качественные переводы живописно разбросаны по полу, а на них сидит Чудище и изучает парочку наиболее качественных.

Вот так люди зарабатывают инфаркты.

Я вызволяю бумаги, медленно считаю до десяти и начинаю собирать вещи для гулянья. Минут за пятнадцать, вешая на уши родной дочке лапшу, умудряюсь впихнуть ее в кофту, рейтузы и комбинезончик – и начинаю искать сапожки. Один нахожу за дверью, другого нет.

Если в нашей комнате взорвать пару ручных гранат, вы не сразу заметите перемену. Сапожок, безусловно, где-то здесь. Стараясь не волноваться, становлюсь на четвереньки и начинаю обход.

Чудище с воем восторга вскарабкивается мне на спину. Кажется, я лошадка.

Через десять минут, на грани нервного истощения, сапожок я нахожу – в тазу под ванной. Господи, на что уходит жизнь, а?

... На улице темно. Немного отойдя от горячки последнего часа, я снова начинаю колдовать над своей мирной поступью. Чудище, восседая в колясочке маленьким Буддой, молчит, умница, смотрит на фонари, на небо. Интересно, о чем она сейчас думает? Как отражается мир в этой головенке с хвостами?

Гуляние оказывается плодотворным; возвращаясь, я твержу как попка, чтобы не позабыть, следующий перл: и дороги бескрайние вились, и бу-бу-бу, бу-бу-бу – в боях, чтобы трубы заводов дымились, и комбайны шумели в полях!

Я твержу эту тарабарщину без перерыва, потому что иначе она исчезнет без следа, как рассыпанный набор, потому что это набор и есть – случайных слов, никак не связанных с этим вечерним небом, с жизнью... Ну что же, заполнить бу-бу – и две строфы уже есть. Эта будет второй, а та – третьей. Или наоборот. Без разницы.

Пока варится картошка, мы рисуем. Не знаю, как моя дочь, – я от своих рисунков балдею. Где кошка, где собачка, определит только судебная экспертиза. Картошку тем не менее я досолить забываю, а потом забываю ее остудить. Чудище обиженно кричит и царственным жестом скидывает тарелку со стола. Я ловлю тарелку на лету, дую на ложку, кормлю игрушечное стадо, исполняю с выражением весь репертуар – словом, цирк!

Впихнув все, что можно, в дочь, быстро подчищаю остатки: вот и поужинали...

Шабаш! Отбой всем службам. К укладыванию Ирка обещала быть.

Тупо и блаженно досматриваю программу «Время» – ничего мне не надо, только дайте посидеть, мозги расслабив да ножки вытянув, сколько жилплощадь позволяет. В ящике все как обычно; план года – досрочно, в Ливане – война, биржу лихорадит, у белых позиционное преимущество, в Москве без осадков.

Ну и слава богу.

– Как вы тут жили? – спрашивает Ирка, входя.

– Ничего, – отвечаю.

– Ты не обижал мою девочку?

– Ее обидишь, твою девочку.

Ирка осматривает места боев.

– Ну и бардачок...

«Бардачок» – это мягко сказано.

– Сейчас все уберу, – жалобно говорю я.

Расчет верный: меня, несчастного, не трогают. Немного очухавшись, снова беру тетрадку, сижу, бессмысленно глядя на лист. Нет, на сегодня все. Пальцы мои высосаны до костей. Слушаю, как бубнит за стенкой Чудище, смотрю, как беззвучно дергается на экране какой-то урод с микрофоном.

День кончается.

Пашка. Боже мой, неужели этого пацана и вправду– нет? Не надо об этом думать. А о чем надо? О том, как дописать строфу и припев; когда прочесть толстенную папку, лежащую в «дипломате», откуда взять сто рублей за перевод телефона и трешку на сантехника – да мало ли о чем еще?

Входит Ирка, опускается на табурет.

– Спит?

– Засыпает.

Мы сидим, глядя друг на друга и не видя. Потом я подмигиваю, и Ирка морщит нос в ответ.

– Привет, кенгуренок.

– Привет, папуас, – откликается она старым паролем.

– Ужинать будешь?

– Буду.

– Я картошку сварил.

– Ага.

– Ты даже не спрашиваешь, сдала ли я «хвост», – обиженно бурчит Ирка через минуту, ковыряясь в картошке.

– А я знаю, что сдала, – отвечаю я. И уточняю: – Хоть по чему «хвост»-то был?

Ирка перестает жевать.

– Ой, – говорит она наконец совершенно упавшим голосом. – Ой, Дим, не помню.

Минут через пять, а может двадцать пять мы перестаем икать от смеха и ползем баиньки.

Ставлю будильник. Опять досидели до полпервого.

Ложась в постель, вспоминаю, что завтра, может быть, увижу Пашку. Потом вспоминаю, что забыл позвонить Косицкой. Потом гашу свет и, как в бездонный колодец, лечу в сон.

Глава II. ПЯТНИЦА

Будильник верещит как поросенок. Прибив его, снова опускаюсь на кровать и прислушиваюсь к организму: то ли мне, как хотел вчера, поработать на свежую голову, то ли, как хочу сегодня, послать все к чертовой матери и положить эту несчастную голову обратно на подушку. Отчаянным рывком поднимаю себя в вертикальное положение и отправляю тело в ванную.

Проснувшись окончательно, ставлю чайник и вольготно раскладываю бумаги на кухонном столике. Вот она, благодать: утро, тишина, час для работы... Если бы еще не дрянь всякую шарашить, а для души... Но – господи, воля твоя! – надо уже сбегать это наконец.

Открываю тетрадь и перечитываю. Нормально. Если не вслушиваться в слова, то вообще хорошо. А кто будет вслушиваться? Никто и не будет.

Сiju, прихлебываю чай, рисую на чистом листе квадраты и треугольники. Изрисовав лист, выдираю его и с минуту гляжу на чистый. В голове вакуум. А говорят, природа не терпит пустоты; еще как терпит. Вот проснется сейчас Чудище – и прощай, утречко. С перепугу из моей черепашки, как чертик из коробочки, выскакивает строка. Не бог весть строчечка, прямо сказать – убогонькая, но казенному Пегасу в зубы не смотрят.

По принятии второго стакана чаю у меня уже имеется трехстрочная болванка: «нас великое выбрало время, чтобы бу-бу-бу-бу-бу росла, и бу-бу-бу, бу-бу поколения...» На «росла» фантазия взыгрывает и выдает оптом с десятков рифм, от «козла» до «санузла». Наливаю третий стакан чаю и бухаю побольше сахару – говорят, помогает.

Просто удивительно, до какой степени может отупеть человек, когда долго пишет незнамо чего.

«Бу-бу-бу-бу не ведая зла!»

Гений. Может, так и оставить с «бу-бу»? Оставить – а Пепельникову объяснить, что это новое слово в поэзии: ноу-хау! каждый имеет возможность вставить недостающее по своему вкусу! творчество – в массы! Только он ведь и гонорар мой поделит с народом, я ж его знаю. Нет уж, добубукаю сам. Святать еще одно четверостишие, припев, а потом уж гулять среди этих «буков» до посинения. Близость финала почему-то не добавляет мне сил, а наоборот – я почти готов сойти с дистанции. Хилый я марафонец... Ну нет, давай, Скворешников, давай – у финишной ленточки лежит целая куча денег, хватит на долги и телефон, жми, Скворешников, осталась суцая чепуха, сутки и четыре пары рифм, попей еще чайку и вперед, только про что бы их, черт побери, рифмовать?

Попробую, как раньше – ни про что.

Но время упущено: на первой же нетленной строке – «бу-бу-бу-бу весенних рассветов» – меня настигает веселый голосочек из комнаты. Ладно, хоть что-то успел, не зря вставал... Убрав тетрадь в недосягаемое место, заглядываю в «склерозник» – ух, сколько сегодня всего! – и уже схватившись за трубку, вспоминаю про Пашку. Чуть не забыл.

Отвечает незнакомый женский голос: они только что уехали, будут звонить; вчера была нелетная погода, сегодня, видимо, уже привезут; позвоните ближе к часу; похороны завтра.

Голос совершенно механический, раз за разом повторяющий одно и то же людям, обрывающим этот телефон...

Значит, завтра.

Значит, все остальное – сегодня! Где ты, «склерозничек»?

– Диспетчерская!

– Вы знаете, у нас тут кран...

– Адрес.

Говорю адрес.

– Будет в течение дня.

Не успеваю рта открыть – гудки. Ненавижу, когда бросают трубку. Так вот, кажется, взял бы за горло и душил их, пока не научатся хорошим манерам. Дозваниваюсь снова: нельзя ли уточнить время?... Нельзя. А почему?... А потому что. Нас много, а они одни, и никто нам не обязан... Теперь, значит, еще куковать дома, сторожить сантехника. Гран мерси.

В комнате идиллия. Привет, дрыхалы! Я-то? Как всегда, часов в шесть. Шучу, в полвосьмого. Все равно, вы дрыхалы, а я рабочий класс. Чудище, ты выспалось? Набралась сил наша девочка? А что это, Чудище, за тетка валяется на моей тахте? Вот только не надо швыряться подушками, это грубо.

Через полчаса все вокруг уже кипит-свистит, и стою я, раб божий, в задумчивости и соображаю, чего мне сегодня хочется больше: пылесосить или кормить девочку? Я выбираю пылесосить – тут по крайней мере знаешь, чего ждать от оппонента.

То, что живет у нас в квартире под кличкой «Ветерок», – это не пылесос, а замаскированный распылитель, маленький враг народа. Под его интимное жужжание я ползаю на карачках, потом сдаюсь и перехожу на ручной сбор кусков пыли. С кухни доносятся звуки боев – высокие договаривающиеся стороны пытаются кормить друг друга яйцом.

Сами, как всегда, едим в суматохе, глотаем, давясь, свой кофе с тостами, благо черствого хлеба и загибающегося сыра в доме всегда навалом. Чудище орет и требует это все себе. Прорвочка, а не девочка. На, на тебе твою «гъенку», ненасытное!

– Привет, кенгуренок.

– Привет, папуас.

– Выспалась?

– Дорогой, мне снился ты...

Язва! Но это мы переживем; было бы хорошее настроение у нашей половинки – тогда наша половинка не будет пилить свою половинку на четвертинки.

Мы едим, ускоряясь по мере того, как догрызает свою «гъенку» Чудище. Догрызет ее – примется за нас.

– Дим, ты когда картошку принесешь?

Даю честное папуасское, что вот-вот принесу, и тут же освобождаюсь от гулянья. На мне сегодня – кухня.

Выпроводив девушек на улицу, я врубаю Высоцкого и под «Охоту на волков» принимаюсь отскребать сковородку. Эх! Вытерев последнюю ложку, с досадой хлопаю по клавише и, расчистив место, сажусь со злосчастной тетрадью.

Бу-бу-бу-бу весенних рассветов! Главное – не задумываться. Обернешься – окаменеешь. Помни, товарищ: награда ждет самого мужественного и отважного – того, кто дорифмует до конца и не спятит; двести рублей ему, мерзавцу, и приз «За волю к победе!».

«Бу-бу-бу-бу весенних рассветов...» А почему, собственно, весенних, что за лирика в государственный праздник? Может, таежных – это посуровее? Или полярных. Нет, это совсем сурово.

«Бу-бу-бу-бу полярных рассветов, и пустынь азиатских бу-бу. (Что бу-бу? Жара, конечно!) – это дней наших бу-бу примета...» Нет, жара не примета наших дней. Тут надо плеснуть чего-нибудь героически-созидательного. Форэкзампиль, как говорил мой однокурсник Жора по прозвищу Утятя – форэкзампиль, то бишь например: новостройки в полярных рассветах, и сады в бу-бу-бу-бу пустынь – это дней наших славных (ура-а!)

примета... Это дней наших славных примета... (Ну!) Это дней наших славных примета... Получи гонорар и остынь. Ой.

Хорошенького понемножку. Я захопываю тетрадку: еще минута такой поэзии, и у меня предохранители полетят.

А ну-кась, чего нам Копылова подбросила? Папочка со шнурочками и на пружинке. Отлично, папочку оставим себе, этот будет гонорар. Смотрим содержимое. Город Курган, Рудольф Коняхин, «Шекспировское в творчестве Джорджа Гордона Байрона». Одиннадцать глав и заключение. Сто шестьдесят страниц, и список литературы на сорок пунктов. Убил бы гада.

Тяжко вздохнув, наугад раскрываю тяжеленную папку. Потом перелистываю пару страниц и вчитываюсь снова, желая без лишних тонкостей зацепиться за главную идею. Наливаясь злостью, штудирую еще с десятков листов, прежде чем идея доходит до меня во всей прозрачности: Коняхину хочется в кандидаты искусствоведения. А певец Гяура ему по такому же барабану, как и всем остальным.

Гипотеза заинтересовывает меня, и уже с неподдельным любопытством я погружаюсь в рукопись. Ах, какая прелесть! Сладкая волна мщения вдруг подкатывает к сердцу: я, черт возьми, тоже не лыком шит, меня на мякине не проведешь, я тебе сейчас покажу «Шекспировское в творчестве Байрона», я к тебе сам буду призраком являться...

Схватив тетрадь, я нахожу чистую страницу и начинаю строчить рецензию. Пишу я все в одной тетради – и переводы, и халтуры, и что купить в магазине – пишу сразу со всех сторон, вырывая листы по мере ненадобности, и кончается моя тетрадь обычно на середине, когда в районе скрепки начинается зеркальное письмо.

Для разгрома избираю стиль строго-классический, сухой даже стиль: знай наших. Увлекаюсь и не сразу подхожу к телефону.

Здравствуй, мам. Все в порядке. Работаю; девушки гуляют. Как вы? Мои планы? А что? Съездить к тете Лизе? А что такое? Мам, не могу. Сейчас жду сантехника, а в четыре – одна бодяга в Доме дружбы, но я должен быть. Неужели совсем никто не может? Да если б хоть заранее, мам... А что – что-нибудь серьезное? Навестить и продукты? Мам, в другой раз, правда... Не обижайся. Ну, я позвоню.

Мысль о заболевшей тетке мешает вернуться к работе. Неудобно получается. Но что я могу поделать! Ладно, проехали.

Беру ручку, ковыряю ею в ухе, перечитываю начало рецензии – лихо! С минуту пытаюсь вернуться в ритм, и вдруг неожиданно обнаруживаю, что добывать Рудольфа Коняхина из Кургана мне совершенно не хочется. Ну да, плохая работа, даже очень плохая, и ни при чем тут ни Шекспир, ни Байрон, но ведь работал человек, читал, списывал; одна перепечатка рублей восемьдесят...

Я пытаюсь представить неизвестный мне город Курган, а в нем этого Рудольфа – наверное, семейного, может быть, уже лысеющего человека. И вот он сидит сейчас где-нибудь на такой же шестиметровой кухне и ждет, что напишут на его папке в головном московском Институте, а я обрадовался, наточил зубы и собираюсь плясать на костях. Стыдно.

Байрону ничего не нужно, и Шекспиру тоже; они что могли заработали, а нам с Рудольфом еще крутиться на всех перекрестках мира, добывая хлеб наш насущный! Нахожу чистый лист и пишу рецензию – сдержанную, строгую и доброжелательную. Дописываю уже торопливо: в прихожей слышны голоса – скорее туда, полюбоваться нагулянным розовощеким Чудищем, узнать последние новости.

– Ты, конечно, приготовил нам обед? – интересуется моя ядовитая половинка.

Конечно, нет. Замаливая грехи, быстро вынимаю Чудище из семи одежек и сажаю на горшок. У Ирки – сто рассказов о нашей дочке: какая она забавная, добрая, умная... Из комнаты раздается грохот.

Бесштанное Чудище, шпионом прокравшееся мимо нас, стоит под пианино, с выражением лица «ой, что-то случилось, но я ни при чем!», а мой секретер...

– Опять?

– Да, – кротко отвечает дите.

Но как она умудрилась вывалить сразу все папки? Сразу – все? Нет, определенно талантливый ребенок...

Я торжественно открываю цикл репрессий. Нашлепанное Чудище с воем валится на пол, но во мне нет ни грамма раскаяния.

– Очень стыдно, Катя! О-чень!

Я сажусь на корточки перед бумажными завалами и уже подумываю, как бы приладить к дверцам нехитрые проволочки-запоры, – сто лет назад ведь решил сделать запоры, все руки не доходили! – но тут на меня вываливаются останки расчетных книжек, и я понимаю, что за квартиру не плачено уже три месяца. Тьфу!

Эти пени и киловатты сведут меня в могилу. Обреченно опускаюсь на тахту посреди бумажных ошметков и, марая лист, начинаю считать, кто кому и сколько должен: обменщица, дама без комплексов, оставила все это на меня, а я возись. Если б еще Чудище не тянуло все, до чего дотягиваются ее шустрые лапки, я бы, может, собрал мозги в кучку и вспомнил, как решаются задачи на простые проценты...

Тут с кухни раздается рев, в дверях появляется Ирка, и я понимаю, что рев этот имеет ко мне самое прямое отношение.

Может, я все-таки буду убирать удлинитель после того, как торчу у телевизора, или сделаю что-нибудь, чтобы люди не спотыкались и не разбивали себе носов? – осведомляется моя безжалостная половинка. А если я совсем безрукий, то надо так и сказать. Через несколько реплик мы беседуем в лучших традициях итальянского неореализма. В процессе обмена мнениями выясняется: моей жене осточертело жить, как на вокзале, среди неввернутых лампочек, шатающихся шкафов и незакрывающихся окон, а мне, в свою очередь, осточертело вообще все, и если на то пошло, никто не запрещает моей жене найти мужа, который будет круглые сутки ввинчивать лампочки. Разговор заканчивается тем, что я пулей вылетаю из квартиры.

Всю дорогу до метро продолжаю мысленно доругиваться с Иркой – тем яростнее, чем очевиднее понимаю, что кругом неправ.

Я стою у автобусного окна и обиженно смотрю на проползающее мимо шоссе; уже у метро вспоминаю, что хотел заехать на телефонный узел, – но не возвращаться же! Куда я, кстати, еду? Ага!

Движимый мстительным желанием завалить жену лампочками, выскакиваю у магазина «Свет», становлюсь в хвост и уже у кассы обнаруживаю, что кошелек я, конечно, забыл, а мелочи в кармане аккурат на одну.

Что дальше? В библиотеку уже нет смысла: туда, обратно, а в четыре надо быть на Арбате. Да и что я сейчас напишу? Посидеть бы в кафешке, успокоиться, поесть наконец – ушел ведь без обеда, мол, не надо мне от вас ничего, Мельмот Скиталец, понимаешь – так ведь денег нет! Распираемый злобой на белый свет, тащусь в Дом дружбы народов. И ведь даже, дурак эдакий, не знаю, на что иду. Чертова Тинатина, долбанная общественная жизнь!

У входа – дипломатические машины: судя по флажкам, что-то экзотическое. Стенды ваши мне без надобности, а вот буфет – это хорошо, да здравствует советско-африканская

дружба, манго, кофе и пирожные. А бесплатно в Африке аспирантов угощают? Нет? Ну и не надо мне ничего, провалитесь вы со своим буфетом. Просто издевательство какое-то, хоть лампочку грызи – и зачем купил ее, все равно же еще раз ездить, хоть кофе бы попил! Нет, что за день, а?

Надо срочно брать себя в руки, решаю я, нельзя так просаживать время и нервы. Сажусь в кресло, минуту смотрю на фланирующую по фойе публику – интересно, как они едят в своих нарядах, эти африканцы? – и вынимаю тетрадь. Хоть добубукать, что ли. Но, видно, не судьба: ко мне намертво прилипает странный человек – из числа тех, чьи физиономии мелькают на всех тусовках, а имени не знает никто. Я имел неосторожность ему кивнуть – и вот он уже сидит рядом и рассказывает о своих творческих планах. Да задавись ты! Но отлепить от себя сумасшедшего нет никакой возможности: как всякое стихийное бедствие, его можно только переждать.

– Идем? – светло спрашивает он, когда наконец открываются высокие двери зала, и я с ужасом понимаю, что в его творческие планы входит провести в общении со мной еще пару часиков. Тут я постыдно бормочу что-то насчет желудка и попросту сбегаю в туалет.

Опасаясь, что верный друг не оставит меня и в тяжелую минуту, запираюсь в кабинке. Здесь, что ли, поработать?

Хорошее, кстати, местечко, тихое. Пережидая положенное время, изучаю надписи на стенах. Вот оно, доказательство единства советского народа: в заброшенном сельском ДК и в центре Москвы – одна рука, один стиль!

Налюбовавшись, осторожно открываю дверку и, удивляя маленького негра у раковины, выглядываю из туалета.

Кажется, оторвался. Собрание уже идет: тихо опускаюсь на свободное место с краю.

В трибуне стоит строгий немолодой человек в дорогих очках: разрешите... посвященное... в этом зале... многолетнее... узы дружбы... всегда.

Потихоньку осматриваюсь: зал полупуст, взрослые дяди и тети, моргая, сидят с постными лицами, на которые уже поставила печать подступающая летаргия. Строгий человек размеренно ставит бетонные блоки слов; люди из президиума сумрачно смотрят в зал, изучая соратников по убиению жизни.

Сквозь белый шум речи вдруг остро вспыхивает во мне досадное чувство, что чего-то я опять не сделал, забыл – и я несколько секунд мучаюсь, прежде чем вспоминаю о вчерашнем звонке Витьки Крылова: да, надо обязательно позвонить, найти время, пересечься, а может, затащить к нам, накормить, подымить на кухне – то есть дымить-то будет Крылов, а я уж потерплю – поговорить, как водится, сначала о всякой шелухе, а потом – о главном. Раньше не было недели, чтобы мы не просиживали ночь в куреве и чаепитии; потом почти одновременно женились, потом, тоже почти одновременно, получили еще по одной записи в паспортах: я – о рождении дочери, он – о возвращении ему первоизданной независимости. По этому случаю Крылов умотал в горы, вернулся веселый, бородатый и вольный, как кавказский орел. Мне показалось, он совершенно счастлив.

– Ну как тебе на свободе? – поинтересовался я как-то.

– Старик, – веско ответил из трубки крыловский голос, и я словно увидел его печальный, черный вороний глаз, – свобода в больших количествах называется одиночеством.

Надо сегодня же позвонить!

Строгий мужчина маячит в трибуне, путаясь в падежах – и я проникаюсь к нему нежданным сочувствием: как же он старается, как симулирует полет мысли, как отрабатывает свой белый, с маслицем, кусочек хлеба!

Признавайся, очкастый, ты тоже Коняхин?

Вычерпав котелок своих банальностей, очкарик с видимым облегчением выходит из трибуны под вежливое похлопывание партерных, а входит в трибуну грузный негр. Бубуканье начинается снова – на двух языках, с переводом. Я уже не знаю, сколько времени сижу в этом зале, глаза неудержимо слипаются, и, благодарный армейской выучке, я засыпаю, как на политзанятиях, – без храпа, с гордо поднятой головой. Иногда сознание мое субмариной всплывает на поверхность; в эти секунды я различаю то упитанного негра, то женщину с вавилоном на голове, то алую полосу транспаранта. При очередном моем всплытии в зале раздаются какие-то особые, искренние аплодисменты, и я понимаю, что собрание закончено.

Выйдя из зала, я на поролоновых ногах бреду опять в туалет – нельзя же выходить на улицу с такой физиономией! Приведя себя в чувство, уставляюсь на часы: почти шесть. Был бы пообедавши, мотанул бы сейчас в библиотеку, а так – конечно, домой. Голод уже прошел, оставив после себя резь в животе и слабость.

Размазанный по поручню, два века ползу в родные пенаты. После разгрузки угля зимой езда в нашем автобусе – самая тяжелая физическая работа из всех, которые мне приходилось делать.

Выпустят меня из этой братской могилы – или как?

Вот моя деревня, вот мой дом родной, пятиэтажный, без лифта и перспектив. Говорят, года через два прокопают сюда метро – и наши акции в Банном переулке сразу поднимутся на несколько пунктов.

Чудище выбегает из комнаты с зажатой в кулаке обезьянкой. Лапа у обезьянки висит на веревочке, но сегодня нашей девочке повезло, воспитательного процесса не будет – все мои локаторы и антенны направлены на кухню, чтобы по кастрюльному звону и напору воды определить Иркино настроение. Три года семейной жизни утончают человеческую наблюдательность до недоступной холостякам остроты.

– Привет, – говорю я входя, голосом нейтральным, равно готовым и к труду, и к обороне.

– Привет, – отвечает Ирка таким же неопределенным тоном.

– Купил лампочку, – сообщаю я. В зависимости от желания это можно понять и как «исправляюсь», и как «подавись ты своей лампочкой!».

Тонкая французская игра.

– Хорошо, – говорит Ирка. То ли «спасибо, молодец», то ли «плевать я хотела, чего ты там купил!» – Есть будешь?

Слава богу. Кажется, война закончена.

Окончательное примирение происходит за ужином. Ирка говорит, что она плохая жена и совсем обо мне не заботится – как я только терплю ее с ее характером; я говорю, что совсем напротив, она – лучшая из моих жен, завтра же велю казнить половину гарема и буду любить только ее, и остаток жизни посвящу борьбе с удлинителем.

Даже Чудище с ее нагловатыми претензиями не мешает нашему воркованию.

Поев, я на радостях иду в ванную и, засучив рукава, начинаю сверлить дырки в стене: то-то будет женушке праздник, когда корыто перестанет падать ей на голову, а повиснет на крючках, как у людей!

Праздника не получается. Вторая дырка оказывается в жутко неудобном месте, упираться в дрель приходится левой рукой, а под штукатуркой обнаруживается какой-то сверхпрочный материал. Начинаю орудовать пробойником – на грохот прибегает Ирка, а Чудище прячется под стол и правильно делает: пробойник вырывается из плоскогубцев и, просвистев мимо меня, чуть не втыкается в стенку напротив. Нервы у меня сдают, и я ору дурным голосом, чтобы у меня не стояли над душой и уходили подобру-поздорову, пока я не поубивал всех пробойником к чертовой матери.

Свершив наконец хозяйственный подвиг, я швыряю инструменты в ящик; знаю, что потом опять буду полдня искать какой-нибудь шуруп, но аккуратничать сейчас выше моих сил.

На кухне – классическая картина: изведение дефицитного продукта и читка вслух. Под шумок дрожащими от сверления руками беру тетрадку и переселяюсь в комнату. Надо обязательно осилить сегодня эту сучью «поступь» – завтра времени не будет. Ах ты... Забыл! Я хватаю телефонную трубку, и руки у меня дрожат – уже не от сверления: неужели пропустил?... Не прощу себе, не прощу!

– А, привет, – отрывисто говорит Лев Яковлевич.

– Простите, это Скворешников... Пашу – привезли?

– Да. Сегодня в три часа. Похороны – завтра.

Я тайно выдыхаю – почти с облегчением.

– Лев Яковлевич, куда мне подъехать?...

– Куда? Зачем?

– Я думал... если нужна моя помощь...

– Ах да.

– Куда мне подъехать?

– Давай к девяти, к военкомату.

– Хорошо. До завтра.

Значит, завтра. А как же Пепельников? Надо будет дозвониться до него с самого утра и перенести встречу. Скажу, что все готово, но не могу встретиться. Перенесу на воскресенье. А вдруг попросит продиктовать по телефону? Скажу, что звоню не из дому, нет рукописи. Ну, Штирлиц, погоди!

Ирка с Чудищем переходят к водным процедурам, а я беру творческий отпуск – все на борьбу с припевом! Там еще, кажется, и размер другой, где-то у меня была записана «рыба»... Я со всех сторон обнюхиваю тетрадь, черта с два тут чего-нибудь найдешь, – а, вот! «Буря мглою небо кроет». Хорошенькая «рыба»...

Молодец, Димочка, вспомнил про Косицкую. Никого нет дома. Ладно, позвоним попозже, а сейчас – вперед! «Буря мглою небо кроет...»

И вот я сижу в кресле среди мусора и игрушек, откинув голову и закрыв глаза над открытой тетрадкой, над четырьмя мертворожденными четверостишиями; сижу, пытаюсь выдавить из темной своей головушки хоть строчку, но строчки нет, и полстрочки нет, а есть заунывное гудение вьюги, ее однообразные модуляции, вырастающие из простых слов, написанных бог весть когда и совсем не мною: буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя... вихри снежные крутя... у-у-ш-щ-щ...

– Димка! ну ты даешь!

Надо же, закемарил. Ирка разгребает завалы на столе, собирает ужин, смеется:

– Бедный мой старичок...

– Чудище спит? – сурово спрашиваю я, пытаюсь скрыть смущение.

– Дрыхнет как сурок.

Мы ужинаем, поглядывая в телевизор и обсуждая, с какой стороны будем выбираться из-под кучи дел, под которой погребена наша жизнь, но ни я, ни Ирка уже не верим, что спасение возможно. Вздыхнув, моя самоотверженная половинка садится шить Чудищу сарафанчик, а я иду воевать с морозильной камерой.

Добыть оттуда мясо надо сегодня, иначе Чудищу завтра не будет котлеток, а Чудище обожает котлетки. Холодильничек у нас дореформенный, к морозилке без ледоруба не подберешься. Вместо творческих мук я пилю, режу, чертыхаюсь – и через каждые две

минуты, вытирая руки обо что попало, бегаю к телефону: вдруг как прорвало всех!

Сначала приятель детства, которого я сто лет не видел и горя не знал, выясняет, не занимаюсь ли я репетиторством, а выяснив, спрашивает, как вообще жизнь; потом студентка с курса, где весной по недосмотру учебной части я принимал зачет, долго рассказывает мне о трудностях своей личной жизни, в связи с чем я почему-то должен расписаться у нее в зачетке; потом меня призывают на службу человечеству из учебной части: в следующую пятницу – юбилей всеми любимого проректора по науке; Димочка, вы так хорошо пишете, у вас легкая рука, сочините эдакое с юмором, всем будет приятно...

Попробую, соглашаюсь я с воодушевлением Прометея, увидавшего на горизонте Зевесова орла.

Расправившись с мясом и телефоном, совершаю еще один боевой вылет в сторону припева. Бесполезно. Полный ступор, ничегошеньки общественно полезного. Отчаявшись, решаю добить хотя бы то, что есть, и с отвагой смертника погружаюсь в текст. Стойко преодолеваю тошноту и не поднимаю головы, пока к половине первого ночи вместо милых сердцу «бу-бу» не встают каменными скифскими бабами положенные случаю слова. Тогда я зеваю, сколько позволяет челюсть, и удовлетворенно озираюсь вокруг. Боевой друг и товарищ все возится с сарафанчиком.

– Бедолага, – говорю я, довольный собою до краев, – шла бы спать.

Не напишу куплета, думаю, и черт с ним: сдам Пепельникову так, авось проскочит... Ирка грустно смотрит на меня, качает головой.

– Чаю – попьем?

Ирка пожимает плечами: как хочешь, мне все равно.

– Ты чего?... – спрашиваю, а в сердце уже вползает досада.

– Димка, Димка, ничего ты не понимаешь...

Ирка встает, закрывает свои коробочки и уходит с кухни. Я – не понимаю. Да все я понимаю. Ну и дурак же я.

Ирку нахожу в ванной: она всматривается в зеркало, медленно расчесывая волосы.

– Кенгуренок, – говорю, – ты у меня самый красивый. Я тебя очень люблю, честное слово.

Ирка смотрит на меня из зеркала, продолжая медленно расчесывать гриву.

– Ты просто – ко мне – привык, – размеренно произносит наконец она с убивающей интонацией смирения и покорности жестокой судьбе.

– Неправда, – говорю я.

– Нет, правда, – говорит она тем же тоном, продолжая разглядывать свое лицо.

Вставать через шесть часов.

Когда я ложусь, Ирка еще возится на кухне. Полежав немного в темноте, не выдерживаю, шлепаю к ней. Господи, второй час – затеяла делать Чудищу творожок!

– Бедный мой кенгуренок...

Ирка, обернувшись, заглядывает мне в глаза и молча тычется в ключицу носом. Нос этот, между прочим, хлюпает.

Я обнимаю ее, сквозь пижамку легко проступают детские ребрышки и лопатки. Что-то почти забытое, сладкое затопляет мое сердце.

– Я люблю тебя, скелетина моя.

– А ты – моя, – бурчит Ирка.

– Какой же я дурак, – шепчу я.

– Угу, – соглашается Ирка, почесывая кончик носа о мою шею.

Эта пыточная машина – наш будильник – когда-нибудь сделает меня заикой.

Семь двадцать. В темпе, в темпе, Дмитрий Олегович! Сегодня опаздывать никак нельзя. Слава богу, бриться не надо: в нашем доме слышно, о чем шепчутся через этаж, а у меня электробритва.

В холодильнике – одна тоска. Или, если быть точным, две тоски: пельмени и маргарин. Ладно, не графья, перетопчемся. Завтракаю чаем и бубликом, обкусанным накануне дочкой. Жизнь становится желанной, и я даже начинаю напевать – до тех пор, пока не вспоминаю, куда еду.

Выйдя, тихонько поворачиваю ключ в замке.

Автобус не идет, народ стоит хмурый, словно не я один – все едут на похороны. Ох, неудобно будет, если опоздаю: напросился и не приехал... Бедные родители. Он ведь один у них, кажется. Один. Не хочу даже думать, каково им сейчас. К черту! Лучше почитаю «Известия», про принципиальный спор Карпова с Каспаровым в защите Грюнфельда.

Что за сон снился мне? Хвостик слишком мал, чтобы за него ухватиться – сон был тревожный и как-то связанный с сегодняшним днем, с Пашкой, но сюжет распался невозстановимо. Мне часто снятся тревожные сны. Один я хорошо помню, он повторялся несколько раз с точностью киноленты – сон про начало следующей войны. Об этом тоже лучше не думать.

Ладно, все! Выбросили из головы и забыли! Что сегодня, кроме похорон?

Воспоминание о припеве отзывается зубной болью и тошнотой одновременно. Зачем я связался в это дело? Откуда возьму эти четыре строчки? Может, позвонить Пепельникову и послать его куда-нибудь... в сторону Добронравова? Но тогда выходит, зря я тужился, рожал «могучую поступь»? И потом – двести рублей. Черт возьми эти деньги! Переводы не печатают – вон, уже полшкафа скопилось, а узнают про халтуру, начнут носы воротить: фу, какая мерзость!

Мерзость надо дописывать, и дописывать сегодня. И от метро не забыть позвонить Пепельникову. Похороны кончатся часам к трем – ехать на поминки или нет?

Косицкой – не дозвонился! Черт возьми, у нее же было какое-то дело, вечером – не забыть, не забыть, не забыть! Все равно забуду. Нет, это невыносимо.

Военкомат стоит в глубине казенного скверика с выкрашенными серебрянкой урнами по углам. На этажах пусто, дверь военкомата открыта, и там, у входа, три фигуры. Они! Вот только этого бородача я не знаю.

– Здравствуйте.

Пашина мама смотрит на меня, не узнавая, потом мелко-мелко кивает головой. По лицу ее разлито совершенное безразличие к происходящему.

– Привет, – Лев Яковлевич возбужденно трясет мою руку. – Видишь, ерунда какая получается – нет машины.

– Да, – отвечаю я. Совершенно не представляю, как себя вести, что говорить.

– Обещали, что все организуют... – Лев Яковлевич, словно оправдываясь передо мной, разводит руками. Еще несколько минут мы слушаем, как что-то объясняет по телефону массивный полковник и что-то объясняют ему.

Ждем около получаса. Лев Яковлевич без остановки ходит по пустому вестибюлю, Ольга Александровна сидит недвижно, смотрит в одну точку где-то за окном. Маленький бородач, тиская в руках спортивную шапочку, бесшумно покачивается на стуле.

– Да что ж такое? – взрывается наконец Пашин отец. – Когда же будет машина?

Дежурный за стеклом поднимает на него бесцветный взгляд, означающий: он при исполнении, что и как делать – знает, торопить его, если надо, будет начальство, а не всякие тут...

– Левушка, – с неожиданной нежностью говорит Ольга Александровна. – Левушка, не надо. Я прошу тебя.

И я вздрагиваю, увидев на ее лице уже забытую мной Пашину улыбку.

– Подожди, Лева, – говорит бородач, вставая. – Я сейчас... – И, пошарив глазами, быстро выходит на улицу.

– Может, сходить еще к военкому? – говорю я, чтобы что-нибудь сказать, чтобы не слышать больше этого невыносимого молчания у стеклянной стены.

– Не знаю, – без выражения произносит Ольга Александровна и снова, как зверек к запертой дверке, возвращается к окошку. – Товарищ дежурный, как же так? Нам же обещали...

– Откуда я возьму машину? – громко и раздельно, как слабоумной, говорит ей вдруг офицер с повязкой. – Откуда я возьму машину, если их нет?

– Так что ж вы молчите? – тихо-тихо спрашивает тогда Пашина мама. – Почему вы нам сразу не сказали?

– Как вам не стыдно? – спрашивает она после паузы каким-то совсем детским, обиженным голосом.

– Не надо предъявлять мне претензий, – говорит человек за стеклом. – Я не люблю, когда мне предъявляют претензии.

– Не смей так разговаривать с женщиной! – кричит Лев Яковлевич. – У нее сын погиб! Сы-ын, понимаешь? У тебя есть ребенок?

– Вы мне не тыкайте, – отвечает дежурный. Чувства собственного достоинства у него навалом.

– Оля, Лева! – В дверях стоит бородач. – Едем, я у себя договорился.

– Стыдно, товарищ дежурный, – говорит Пашина мама, и я с тоской вспоминаю вдруг, что она – школьная учительница.

– Да бросьте вы его! – неожиданно кричит тихий бородач. – Нашли с кем разговаривать! Сначала мы едем молча. Потом Ольга Александровна касается моей руки.

– Простите, вы же – Скворешников?

– Да, – говорю я.

– Ну конечно. Я вас вспомнила. Паша все говорил о вас. Через слово – Скворешников... Мой замечательный мальчик.

– Ты подумай, – с переднего сиденья поворачивается Лев Яковлевич – только тут замечаю, какие красные у него глаза. Сколько дней они не спят уже? – Говорили: все организуют сами...

– Хрен с ними, Лева, – не отрывая взгляда от дороги, говорит маленький бородач. – Пропади они пропадом...

– Он такие письма писал хорошие. – Лицо у Ольги Александровны по-прежнему спокойно; улыбка – та, Пашина – мелькает на ее губах иногда. – А я знала, что так будет, я еще тогда знала.

Она начинает рассказывать о Паше – какой он был в детстве, и потом, и всякие случаи из его жизни, а Лев Яковлевич вспоминает, как Пашка в пять лет изображал на даче привидение, вспоминает так, словно мы и едем на эту дачу, а не забирать Пашино тело, и – о боже! – они смеются.

– А меня он называл Бородатина-Сергунятина, – говорит бородач.

– Бородаatina-Сергунятина, – подтверждает Лев Яковлевич.

Потом все замолкают, и становится слышно, как шуршат по асфальту шины. Ширк-ширк, ширк-ширк.

Потом Ольга Александровна говорит:

– У меня взяли сына – и не вернули. Взяли – и не вернули.

– Перестань, – резко обрывает ее отец.

Мы подъезжаем к каким-то воротам, и бородач, кинув: «Я сейчас», хлопает дверцей и скрывается за ними.

Через час добытый им катафалк уже медленно разворачивается где-то на окраине Москвы. Я выхожу, разминаю ноги, оглядываюсь – и у меня начинает сладко щемить сердце; через несколько секунд я понимаю, почему.

За низкой больничной оградой – башня и пятиэтажки, потом налево пустырь и станция метро; я знаю тут каждый поворот.

Странно: ведь я любил ее. А сейчас и лица не помню. Только голос с хрипотцой и запах волос, мне было восемнадцать лет тогда, я звонил вечером от этого метро, зимой, и ждал, когда она спросит: «Ты хочешь приехать?».

Я отвечал «да», она говорила: «Ну и приезжай» – и смеялась.

После развода (она называла это «пауза в личной жизни») она жила с бабушкой. Как звали бабушку, не помню, помню только, что жутко ее стеснялся. А моя разведенная возлюбленная спокойно прикрывала дверь в свою комнатку, садилась на диван, и встряхивала рыжей шевелюрой, и смотрела на меня, и улыбалась.

Долго смотреть ей не приходилось. Мы обнимались до потери пульса, но решиться на большее, слыша, как поскрипывает от любого сквознячка не запирающаяся дверь, я не мог.

– А она не войдет? – не выдержав, спросил я однажды напрямик.

– У нее своя личная жизнь, у меня – своя, – лаконично ответила моя рыжая наставница. – Не войдет.

Вскоре она бабушку куда-то спланила, и я, позвонив домой, промямлил что-то насчет подготовки к семинару по языку – в общем, сказал, домой меня сегодня можно не ждать.

– Ну хорошо, – с пониманием сказал отец. – Занимайся.

Мы занимались ночь, и день, и снова ночь, и к концу занятий я разучился говорить даже по-русски. А потом прошла зима, и моя возлюбленная перестала спрашивать, хочу ли я зайти. Однажды я зашел к ней без спросу – и был представлен добродушному мужику в свитере, просторно расположившемуся в кресле, где раньше сидел я.

Так это все и закончилось. И если разобраться, никакой любви там отродясь не было – просто мне только исполнилось восемнадцать, а у нее на ту зиму пришлась пауза в личной жизни. И все это так банально, что не о чем и говорить – но почему тогда сладко ноет сердце, и я отсчитываю этажи серой девятиэтажки, чтобы найти ее окно на шестом?

Энергичная женщина быстро отпирает низкие ворота морга. Мы входим и останавливаемся у огромного, заколоченного в деревянные брусья цинкового ящика.

– Он здесь, – говорит Лев Яковлевич.

Ольга Алексеевна стоит во дворе, прислонившись к машине.

– Ты посиди немного, Оля, посиди! – махнув рукой, кричит Пашин отец и – нам: – Давайте снимать цинк.

Он торопится все время, он боится хоть на секунду остаться без дела.

Я выхожу на воздух; два мужичка в ватниках нараспашку молча стоят у самых ворот.

– Мужики, – спрашиваю я, – инструмент есть какой-нибудь?

Коротышка старательно ковыляет за угол. Другой, худой, прокуренный до серых щек, коротко спрашивает, чуть погодя:

– Афган?

– Нет, – говорю я, отсекая расспросы.

– А эта, у машины – мать?

– Мать, – говорю.

– Ах ты...

Прокуренный коротко излагает все, что он думает про войну, про армию, про эту жизнь вообще... Из-за угла ковыляет коротышка.

– Вот...

Лицо у коротышки сморщенное какое-то, глаза слезятся. Кажется, он немного пьян.

Мы высаживаем мощные бруски, и бородач, завладев ножницами, начинает резать цинк. Взлетает к низкому потолку и начинает качаться в тесном кубе морга жуткое «цви-уинь», и, унимая этот невыносимый звук, мы с Пашиным отцом разом хватаемся за раскромсанный край ящика.

– Консерва дурацкая, – шепчет он. – Вот черт возьми.

Мы осторожно вынимаем гроб и вносим его в УАЗик. Там, улучив момент, я шепчу бородачу вопрос, мучивший меня все это время:

– Открывать будем?

Он строго смотрит на меня:

– Не надо.

– Что? что?

– Я думаю, Лева, ведь открывать не надо? – повторяет бородач, глядя на меня досадующим взглядом.

Лицо у Пашиного отца каменеет.

– Я хочу посмотреть на него.

– Не надо, Лева.

Ища поддержки, Лев Яковлевич смотрит на меня; в глазах его светится огромная, какая-то совершенно собачья тоска.

– Наверное, действительно не стоит... – мямлю я.

– Я хочу – на него – посмотреть.

– Хорошо, – говорит бородач. – Только...

– Да. Без нее.

Боясь задеть Пашину голову, я ломиком поддеваю крышку. Мы снимаем ее; я вижу лицо Льва Яковлевича и быстро отхожу, как будто самое важное сейчас – сразу отдать ломик.

Коротышка в ватнике по-прежнему стоит у дверей морга, но уже один. Он смотрит не отрываясь. Маленькое лицо его болезненно сжимается, словно в каком-то странном тике. Он поднимает на меня глаза, и я вижу, что коротышка плачет.

Я лезу в карман за трешкой из бумажного комка, сунутого мне бородачом на все эти дела, и сую ему. Коротышка мотает головой.

– Бери, отец, бери, – уже раздражаюсь я.

Коротышка мотает головой; слезы без остановки бегут по его щетинистым щекам.

От УАЗика отбегает Лев Яковлевич, не оборачиваясь, машет рукой: заколачивайте!

В машину с Пашиным телом сажусь я и, сев, сразу кладу руку на гроб, чтобы не очень трясло Пашу, когда поедem. В маленьком окошке исчезают больничные корпуса, деревья и плачущий смешной коротышка в ватнике нараспашку, ковыляющий вслед. Коротышка машет

рукой...

Дорога до кладбища неблизкая. Я смотрю, как мотается по полу упавшее ведро. Наконец ведро ударяется в гроб, и, пробравшись вперед, я заклиниваю его под сиденьем.

В голове пустота – просто еду, жду конца дороги. Паши больше нет. У моих ног в обтянутом тканью ящике лежит его замороженное тело в новенькой гимнастерке: нелепый маскарад. Мы все едем, куда-то поворачиваем, медленно переваливаем через трамвайные пути и снова едем – и вдруг я обнаруживаю, что без перерыва повторяю дурацкие мои строчки о мирной поступи. Они скрежещут в мозгу, как лопата по сухому асфальту. Я остервенело мотаю головой, пытаюсь прекратить этот кошмар, но чугунные шары продолжают мерно сталкиваться в черепе, одно и то же, снова и снова, и я сдавливаю виски, чувствуя, что могу спятить от этого медленного самоубийства, и когда машина тормозит наконец у ворот кладбища, выскакиваю из нее, как из камеры пыток.

Глотаю осенний воздух; сейчас все пройдет. Заплаканные женщины и немногословные мужчины окружают нас; исчезает за углом похоронной конторы стремительная фигура Льва Яковлевича. Чуть поодаль, у ограды – горстка Пашиных друзей. В них уже почти ничего не осталось от тех, с которыми я знакомился два года назад: растерянные, серьезные. Меня, кажется, никто не узнал. А может, и узнал; у них не очень-то поймешь. Но двое отделяются от горстки, подходят ко мне.

– Здравствуйте.

Я киваю.

Полноватый очкарик и девушка.

– Скажите, а Паша – здесь?

– Да, в машине. – Ну и глазищи у этой девушки! Надо же, чего бывает на свете...

– А... – Она ловит мой взгляд – не слишком, кажется, подходящий к ситуации – и на секунду осекается. – Вы его видели?

– Нет, – почти не вру я. – Он в закрытом гробу.

Но то, что я не мог не видеть, заколачивая этот гроб, снова встает передо мной.

– Как он погиб? – спрашивает парень, поправляя очки на одутловатом лице.

– Не знаю. Я не спрашивал. – Ответ получается жестче, чем я хотел.

Мы молчим некоторое время, потом одутловатый молча же тянет черноглазую за рукав плаща, и они отходят. Интересно, есть у нее что-нибудь с этим парнем – или просто из одной компании?

Люди продолжают прибывать. Какие-то женщины обнимают Пашиного отца; как он сильно сутулится! А Пашка был совершенно прямым – мамина осанка. Люди прибывают, заполняя площадку у входа, и уже проходящие на кладбище посматривают с интересом, пытаюсь угадать: кого хоронят, почему столько народу?

Разговоры вполголоса, кивки незнакомым. Кого-нибудь ждем? Кажется, бабушку. (О господи, еще и бабушка. А я-то надеялся, что самое страшное уже видел.)

Ожидание становится невыносимым; потом – движение; пора, давайте, суeta у машины. Знаете, участок в самом конце кладбища... На руках? Конечно, на руках. И чей-то почти обиженный голос: а что, открывать не будут? Как же, а проститься? Вы что, не понимаете?... Ах, ну нельзя так нельзя.

Алый ящик плывет на плечах над желтым маревом кладбищенских аллей, поворачивается, покачивается, переходя с рук на руки. Уступив свое место, я оказываюсь в плотном людском потоке. Мы идем молча – и долго в сентябрьском полусвете мучит скрип сотни подошв.

Могила у самой стены, четверо крепких ребят ждут, оперлись на лопаты. Гроб ставят на

тележку; облепляя решетку, становимся вокруг. Несколько военных стоят отдельной группой. Салюта не будет. На лицах – корректная отрешенность, молоденький прапорщик нетерпеливо переминается с ноги на ногу.

Тишина, долго скручивавшаяся в женских платочках, в сжатых пальцах, разом взрывается долгим стонущим «а-а-а», и тут же: да поддержите же ее, валидол, есть у кого-нибудь от сердца? Старушку отводят в сторону – нет, повторяет она, нет, нет, нет!

Сутулая фигура у гроба; пальцы гладят ткань крышки. Матери рядом нет. Я оглядываюсь и вижу ее метрах в десяти, стоящую одиноко возле чужой решетки. Бледное лицо совершенно спокойно. Только тут до меня доходит: она просто не верит во все это. Она еще не поняла.

– Ну, давайте...

Как странно. Гроб закрыт; дикая, щемящая надежда: может, Пашки там и нет?

Обтянутый тканью ящик ложится в землю.

Тишина обратной дороги разбавлена негромкими разговорами: да-да, ужасно, я бы не вынесла; а как он погиб? тс-с, не надо об этом; ужасно, ужасно; а кто эта девушка в сером пальто, она так плакала; неужели поминки будут у них дома – как же все поместятся? И подмешивается к горечи: слава богу, уже позади эти немыслимые минуты у заколоченного гроба над ржавым коловцем могилы.

– Простите, вы, наверное, Скворешников?

Черные глаза девушки заплаканы: да, серое пальто – это про нее...

– Скворешников, – говорю.

– Вы – поэт, – почти сердито произносит парень. Он, конечно, рядом.

– Ну... почти, – ненавижу, когда меня называют так. – Я – переводчик поэзии.

– Все равно, – категорически заявляет мне одутловатый.

Пожимаю плечами.

– Это я вам звонила, – торопливо говорит девушка. – Паша отдал Коле тетрадь, когда уходил, а там ваш телефон...

Вот оно что. Вот почему я здесь.

– Ясно, – говорю, – спасибо.

– Вы читали Пашины стихи? – нервно поправляя очки, осведомляется одутловатый Коля. С большим удовольствием я бы узнал имя девушки.

– Читал.

– Вам не нравится.

Я неопределенно пожимаю плечами: стихи и стихи...

– Вот, возьмите, – Девушка требовательно протягивает мне почтовый конверт. – Это Пашины письма оттуда.

– Там стихи, – говорит парень.

Ну конечно. Я – поэт, там – стихи. Мне предлагается оценить и организовать посмертную публикацию. Ребятки, вы нашли кого просить – не говоря уже о том, что смерть не является в поэзии смягчающим обстоятельством...

– Хорошо, давайте.

Страх, смешанный с любопытством, овладевает мной. Опять разбирать этот сумасшедший почерк, смиренный печатными буквами с аккуратными островками вымарок. Вот только уже не встречу на «Фрунзенской» белобрысого акселерата с кожаным шнурком вместо галстука.

– Вы не поедете с нами? – спрашивает девушка.

– Куда?

– Ко мне. Все Пашины друзья едут ко мне.

– Не знаю... Дел невоворот...

Насчет дел я, конечно, не соврал.

– Знаете, я вам оставлю адрес: сможете – приезжайте.

– Спасибо.

Бумажку прячу в карман. Может, правда, плюнуть на все?...

– Если смогу – приеду.

Подхожу к Пашиным родителям; Дима, а вы разве не поедете к нам? Нет? Ну конечно, работа... Спасибо вам.

Пашина мама вдруг подается ко мне, утыкается в плечо.

– Оля, – раздраженно говорит отец. – Оля!

– Все, все. – Пашины глаза вновь смотрят на меня с ее лица. – Все! Спасибо вам.

Я мнусь еще несколько секунд, потом поворачиваюсь и ухожу. Автобус увозит меня по щербатой дороге все дальше от покосившихся решеток, к кольцевой, к телефонам-автоматам, к маленькому рынку у метро... Напряжение отпускает понемногу, и вскоре я уже благосклонно поглядываю в грязное окно на проплывающую мимо улицу с манящим, тихим названием Библиотечная. Время скорби честно прожито мной – пора возвращаться, вспоминать все сто тридцать пять дел, отложенных утром.

Пепельников!

Забыл ему позвонить. Все! Это конец. Он наверняка заказал текст кому-то еще. Есть умельцы – за час залудят эту поступь и не поморщатся. От мысли, что в эту самую минуту какой-нибудь прохиндей, попивая кофий, уже рифмует «время-стремя», я издаю стон – стон страдания, ревности и финансовой катастрофы. Случившаяся рядом сердобольная старушка протягивает мне анальгин. Спасибо!

Дорогу до метро я досаживаю, как на углях, выскочив, опрометью бросаюсь к автоматам. Телефонную книжку я, конечно, не взял, но пепельниковский номер, слава аллаху, затвержен наизусть.

Занято.

Набираю еще несколько раз, потом уступаю место прыщавому парню и долго слушаю, как он уламывает какую-то Нинон пойти размяться. «Ну че ты?» – говорит он, и через минуту: «Ну ладно, че ты?»

Когда он наконец дочекивает, я почти вырываю трубку из его рук. Если все это было напрасно – я не знаю, что я сделаю! Наконец – долгие гудки в трубке, сердце мое обрывается и летит куда-то в область живота. Ну?

Ворчливый голос советует мне правильно набирать номер.

– Я набираю правильно! – ору я в библикающую трубку и бросаю ее на рычаг. Убивал бы таких советчиц. Двушки у меня кончаются, нервы тоже. Изможденный, выхожу из кабины и опускаюсь на уборочную машину – из тех, которыми распугивают припозднившихся пассажиров.

Спокойно, все в порядке. Текст у меня практически готов, рабочий день – до пяти. Все хорошо. Все просто замечательно. Кому я еще должен отзвонить? Ну конечно! Подайте двушку, граждане!

– Алле!

– Людмила Леопольдовна, здравствуйте, это Скворешников.

– Почему ты не позвонил, Дима? Что-нибудь случилось?

– В общем, да, – говорю я, мысленно обложив себя последними словами. – У меня друг погиб. Сегодня вот похоронили.

– О боже.

Легкое угрызение совести царапает меня: получилось, будто не звонил я из-за Паши... Пытаюсь представить, что сказала бы Косицкая, узнай она о моих трудах к красным датам, – и не могу. Ничего бы не сказала. Просто потеряла бы ко мне интерес, и все. Я слышал однажды, как она разговаривала по телефону с одним «бывшим учеником», как безразлично был он отрекомендован мне по окончании разговора. Не приведи господи услышать когда-нибудь такой голос обращенным ко мне.

– Людмила Леопольдовна, у вас было какое-то дело...

– Да, милый. У тебя ведь из Венслея уже есть что-то?

В сердце у меня тенькает.

– Есть, – говорю я неправду.

– Ну вот и славно.

По голосу ее, бодрому и чуть небрежному, догадываюсь: мне приготовлен подарок.

– Ты знаешь, где находится редакция «Мира и литературы»?

– Да, – говорю я чуть быстрее, чем следовало бы, и полминуты, проклиная себя, слушаю инструктаж.

– Людмила Леопольдовна... – Сгорая от стыда, я начинаю разыгрывать требовательность к себе. – Может, не Венслея – хотелось бы еще над ним посидеть...

Еще бы не хотелось – там только подстрочник!

– Посидишь, Дима, – весело подбадривает Косицкая, – а Венслея все-таки принеси, у них сейчас как раз восемнадцатый век идет. Два-три стихотворения.

Два-три!

– Когда нужно принести? – кротко спрашиваю я.

– Вообще-то вчера, – смеется Косицкая. – Но можно до среды. И чем скорее, тем лучше.

– Ясно, – говорю. – Постараюсь. Спасибо вам.

Ну почему, остолоп эдакий, я не перезвонил ей сразу же? Была бы у меня почти неделя, а так – сегодняшняя огрызок и три дня. Академический журнал! «Джон Венслей в переводах Дмитрия Скворешникова»!

Срочно расправляться с «поступью». Сейчас же!

Через минуту дозваниваюсь Пепельникову, и сразу верхним чутьем понимаю: все в порядке. Коротко и, насколько возможно, с достоинством сообщаю: текст готов, но сегодня передать уже не смогу, только завтра. Мой работодатель несколько обескураженно соглашается: только с самого утра, Димочка, и не опаздывай, пойду с твоей нетленкой по начальству, а в понедельник – уже на самый верх...

О том, что Пепельников имеет в виду под «самым верхом», лучше не задумываться, не мое собачье дело. А вот описание предстоящих с моей нетленкой хлопот мне определенно не нравится. Ладно, мы ребята простые, намеков не понимаем. Нам бы припевчик накормить поскорее – и с глаз долой, из сердца вон! Только откуда ж его взять, припевчик?

И тут меня осеняет. Я знаю, откуда.

В библиотеке почти пусто, только корпят над конспектами две студентки, листает подшивки старушка, да в углу, обложившись древностями, водит носом по странице маленький горбун.

Окаменив лицо, я прошу у библиотекарши трехтомник песен и маршей – милая девушка, оформляя заказ, бросает на меня взгляд, полный сочувствия к внезапно и тяжело заболевшему человеку.

Получив красные кирпичи, тридцать лет и три года ожидавшие меня, своего первого читателя, я притуляюсь в кресле у столика. Ну, Дмитрий Олегович, давай. Лиха беда начало.

«Буря мглою небо кроет...»

Через полчаса, собрав в кучку все написанное четырехстопным хореем, я затеваю совершенно хамскую компиляцию: пересаживаю эпитеты из песен к глаголам из маршей, меняю «веселье» на «весенний», «народ» на «вперед», переписываю все начисто – и, как Пигмалион, отхожу в сторонку, чтобы полюбоваться своим детищем.

Вот она, моя Галатея – четыре куплета и припев. Моя уродочка. Влюбиться в нее я, конечно, не смогу, но продам всем желающим – и завтра же... Смысла тут не больше, чем на любой из тысячи страниц трехтомника – но, видит бог, и не меньше! А оптимизма просто девать некуда.

Жди меня, Пепельников, завтра в девять утра, получай, драгоценный, свой заказ, потому что я его больше видеть не могу.

Вам стыдно за меня, граждане? Кому стыдно – дайте двести рублей.

Господи, неужели все? Вот это вот безобразие – и долги, и за свет-газ, и женушке чего-нибудь; глядишь, и в кафешку вырвемся, прокутим на двоих червонец... А главное – Венслей! Сегодня же, сейчас же – Венслей! Господи, как хорошо-то; почему я раньше не сообразил про марши?

Домой, скорее домой!

– Ди-им... – тянет из кухни жалобный голос. – Это ты?

– Я.

– Это хорошо-о. А то твоя дочь меня доконала-а.

Шум воды обрывается, Ирка выходит в коридор, прислоняется к стенке.

– Здравствуй, Скворешников.

– Здравствуй, Скворешникова, – отвечаю.

– Ну как? – спрашивает она.

– Отлично!

– Что-о-о? – Ирка даже отрывается от стенки.

Дурак же я. Дурак бесчувственный, сволочь. Пораженный неожиданным чувством, так и стою у двери – в расстегнутой куртке, с «дипломатом» у ног.

– Извини, – бурчу я.

– Дим, ты чего?

– А... – машу рукой. – Так...

– Может, уж сбегашь за картошкой? Пока не переоделся...

Картошка – мой вечный долг перед человечеством. На улице уже темнеет. Скоро будет темнеть еще раньше, а потом наступит зима, и в первом номере «Мира и литературы» появятся мои переводы. Скорей бы добраться до папки. В магазин я врываюсь почти бегом.

Дома, еле заставив себя переодеться, бросаюсь к машинке. С каким же удовольствием отстукиваю я наконец четыре злосчастные строфы с припевом-компиляцией; как сладко знать, что больше никогда в жизни не прочтешь этих слов, что честно сделал свое дело, приволок эстафетную палочку на следующий этап – и можешь идти в кассу...

Торжественным дирижерским жестом ставлю последний восклицательный знак.

Теперь поужинать – и за дело. Хозяйственную барщину я отработал картошкой – вечер, без сомнения, мой. Мысль, что вот-вот, уже в любой момент, могу достать из секретера милую сердцу папку с полотняными широкими завязками, папку, на которой не без изящества написано черным фломастером английское Wensley, – мысль эта будоражит меня и лишает вкуса тушеную картошку с мясом и кружками моркови.

Заглотив ужин, я смиряю себя и добровольно становлюсь к раковине: надо дождаться,

пока утихнет Чудище, надо подготовиться к встрече. Долгой была наша разлука; как-то примет он меня теперь? Простит ли трехмесячное заточение в секретере, измену с «поступью»? Будь благосклонен ко мне, Джон Венслей – и я извлеку тебя на свет из-под бумажных завалов, не держи на меня зла, Джон – я, если вдуматься, не так уж и виноват...

Посуда давно вымыта; я долго вытираю со стола, мою руки с мылом, тщательно вытираю о полотенце. Все. Надо начинать. Что-то страшновато.

Я захожу в комнату, где уже при свете ночника сидит на Иркиных коленях сонное Чудище, целую ее в теплый лобик, целую Ирку – я так люблю, когда у нас мир. Ирка понимающе проводит пальцем по моей ладони.

В полутьме безошибочно извлекаю из темных глубин секретера папку с тесемками, выхожу из комнаты, плотно притворяю дверь. Я сажусь за кухонный столик, скидываю с него на кресло дочкины ботиночки; кладу на столик папку и осторожно тяну вверх широкую полотняную тесемку...

Ты, держащий на ладони этот мир, зачем вглядываешься в меня так пристально? Что Ты увидел во мне, раздираемом смрадной чернотой и небесным светом? Куда велишь идти по этой каменистой тверди, простершейся подо мной во все стороны? Для чего сокращаешь сердце, запертое в тесной клетке ребер? Я знаю, что скоро исчезну – так почему же радуется каждому дню моя душа, парящая над старым телом на тонкой ниточке дыхания? Ты, держащий на ладони этот мир, позволь еще пройти под этими облаками, вдохнуть еще раз дарованный Тобою воздух!

Я ставлю чайник, наливаю в чашку заварку – руки подрагивают от волнения. Я сажусь, снова гляжу на листок с подстрочником, потом в черноту окна – как хорошо, что оно выходит на пустырь, можно не задергивать штор, смотреть на россыпи огоньков в дальних домах, мерцающие сквозь ветви точки жизни.

Ты, держащий на ладони этот мир...

Размеренный, чуть тяжеловесный ямб староанглийского стиха уже начинает заполнять меня, я вслушиваюсь в его неспешный ход, в глубокое дыхание строки, явсматриваюсь в лист, пытаюсь разглядеть за чередой слов лицо человека по имени Джон Венслей. Портретов его не осталось; известно, что был священником, что умер больше двух веков назад в Средней Англии. Интересно, в какую сторону отсюда Англия? Кажется, вон на ту засыпающую девятиэтажку и дальше, через шоссе и пустыри...

Закипает чайник. Я налил его доверху, на несколько чашек: сегодня надо перевести стихотворение хотя бы вчерне.

Ты, держащий на ладони этот мир...

Я прихлебываю чай, ожидая, когда из первой, уже сложившейся, строки начнут прорасти остальные. Россыпь далеких огоньков за пустырем постепенно редет, потом лишь отдельные точки прорываются сквозь ветви деревьев – где-то, значит, тоже не спят, может, такая же грешная богема, как я, может, просто припозднились из гостей. Работа не идет, в голову лезут всякие глупости – то «мирная поступь», то телефон, за который я так и не заплатил, то черноглазая девушка и ржавый колодец могилы. Устал я.

В последнюю чашку еле нахлупывает половина. Начало второго, за окном сплошная темень. На листе, лежащем передо мной – тоже. Перевода нет. Есть хорошо зарифмованное стихотворение; оно даже похоже на оригинал – так похожа на самолет модель в натуральную величину. Но там, где венслеевский стих отталкивается от земли и уходит в небо, от моего отваливаются крылья, обнаруживая пятна клея на картонных стыках.

Я перечитываю перевод, и уже сам не понимаю, что тут такого, в этом стихотворении,

отчего зашло дыхание тогда, в Иностранке, весной. Голова раскалывается от усталости, венслеевские строки по-хозяйски вламывается «мирная поступь», и, сдавив руками виски, я еще несколько минут сижу, один в уснувшем городе, пытаюсь навсегда разобрать на молекулы и уничтожить этот бред.

Потом снова перечитываю перевод.

Потом обнаруживаю себя лежащим головой на столе между подстрочником и чашкой с недопитым чаем. Шея затекла; жить не хочется. Не хочется переводить, думать, читать, допивать чай. Хочется спать.

Еще минуту уговариваю себя пойти в душ, но безрезультатно. Завтра в девять – Пепельников. Будильник ставлю на четверть восьмого, потом добавляю себе еще десять минут сна.

Последняя мысль, мелькающая перед полным исчезновением сознания: вот оно, счастье.

Эпилог

ВОСКРЕСЕНИЕ

Я открываю глаза оттого, что кто-то в моем мозгу кричит:

– Проспал!

Открыв глаза, я сразу понимаю, что так и есть.

Вскакиваю и бесшумно, как индеец, пробираюсь на кухню. Дьявол! Двадцать минут девятого! Не включил будильник, болван!

Это катастрофа. Через сорок минут Пепельников ждет меня на другом конце города. Ежась, ловлю в ладони ледяную струю, плещу в лицо. Вытереться досуха терпезу не хватает – так, с влажной физиономией, и выбегаю на кухню, мокрыми руками, чертыхаясь, начинаю чиркать спичкой. Спичка зажигается с пятого раза. Теперь, когда на счету каждая секунда, все будет выходить с пятого раза.

Пока кипятится вода, успеваю одеться и кинуть в «дипломат» свежееперепечатанную халтуру. Вроде все. Обжигаясь, глотаю чай, на ходу хватаю несколько сушек из шкафа.

С лестницы, ругаясь заветными словами, бегу назад – опять забыл кошелек! Мои девушки спят как сурки – надо же! Хватаю финансы, спотыкаюсь о куклу, чертыхаюсь и снова скатываюсь по ступенькам.

Такси!

Воспоминание о сладком пепельниковском баритоне – «без опозданий, Димочка...» – прошибает меня почище стакана водки. Запросто, пират, оставит без договора – или откупится сотней, негодяй. Ну что, никому не нужна моя пятерка? Налетай, частный сектор, пользуйся случаем! Я бегу по обочине спиной вперед, размахиваю руками, пока наконец не бросаюсь к притормозившим «жигулям». Милые вы мои, век не забуду!

Через двадцать минут я сую моему спасителю синенькую и выскакиваю из машины. Без трех минут, порядок, успел. Только на часах над улицей почему-то без трех восемь, а не без трех девять. Смешно, на целый час отстают. И соседние тоже.

Я еще чешу по тротуару размашистым шагом, но до меня уже начинает доходить, и шаг становится короче. Я останавливаюсь и снова смотрю на часы, повисшие над полусонной улицей. Потом на свои и опять на уличные.

О господи!

Я стою посреди тротуара и чувствую, что сейчас разревусь от обиды – на свои дырявые мозги, на человечество, сговорившееся уморить меня недосыпом, на родных, не напомнивших о переводе часовой стрелки на час назад по случаю перехода на зимнее время.

В странном состоянии, похожем на невесомость, я бреду по тротуару, прохожу мимо пустынной остановки, где должен был ожидать меня Пепельников, а гуляют два жирных голубя, сворачиваю на аллею, прохожу еще немного и опускаюсь на грязно-белую скамейку с приклеившимся к ней бурым осиновым листком. «Дипломат» кладу рядом.

Не выспался, прикатил черт-те куда, угрохал пятерку. И что тут делать целый час? Ни книги не взял, ни тетрадки. Ничего нет – только этот прилипший лист, и утренний пробирающий холодок, и в обе стороны от скамейки – Нескучный сад, изгибами тянувшийся вдоль неспешной реки, и просторные небеса над садом, наполненные беспокойными птицами – они чайнками кружатся в бескрайнем стакане неба, покрикивают, напоминая городу о приближении зимы.

Я сижу, глядя на реку и поеживаясь, один среди города, спящего с выключенным секундомером.

Я сижу на грязно-белой скамейке с прилипшим к ней бурым листком, прищипленный, как жучок к картонке, к этому свободному часу. Тайм-аут... «Время—вне». Вне всего, кроме этого сада и неба, под которым сидит на скамейке плохо выбритый, с нечищенными ботинками человек. Дмитрий Олегович Скворешников. Тридцать лет. Женат. Имеет дочь.

Я сижу, глядя на бегущего по аллее, размеренно дышащего человека в красной вязаной шапочке – вот он скрылся за деревьями и стал прошлым, прошедшим, как вчерашний день с кладбищенскими покосившимися оградами и черноглазой девушкой, которой я никогда не позвоню, хотя знаю ее телефон; не позвоню, потому что жизнь одна – хотя, может быть, именно поэтому стоило бы позвонить; прошедшим, как та ночь на случайной даче, с дождем, отбивавшим несусветный джаз по низкой крыше, когда случайная компания свела нас с Иркой; прошедшим, как те пахнущие хлебом овраги, по которым я спешил к рыжей девчонке, про которую думал, что ее люблю; как абрикосы, которые привозил мне в банке дедушка в летние ясли в Лианозове... Прошрое, прошедшее, горькое и радостное, медленно заполняет мою жизнь, как вода заполняет колодец, его все больше, прошедшего, все больше.

Легкий ветерок, плавно опускавший на асфальт сухие листья, крепнет. Я поднимаю воротник, плотнее укутываю горло шарфом. Идти мне некуда: в девять я сел на эту скамейку, в девять с нее встану.

Секундомеры выключены, тайм-аут еще не окончен.

День, когда я познакомился с Пашей, вдруг отчетливо вспоминается мне; Пашина длинная жилистая фигура и усмешка; его веселое рукопожатие. Он должен был целоваться с черноглазой девчонкой в сером пальто, лазать по горам, растить детей и приезжать с ними к родителям – как им жить теперь, откуда взять силы, чтобы жить?

Холодок пробегает по моей выпрямленной спине. Я нащупываю на груди пролежавший там почти сутки конверт.

Потертый прямоугольничек без марки; несколько сложенных вчетверо, истлевших на сгибах листков, плотный квадратик фотографии. Паша – незнакомый, взрослый – смотрит на меня в упор. Я отвожу взгляд.

Ветер пошевеливает язычок конверта. Нервничая, я наугад разворачиваю листок, потом другой; я читаю короткие столбцы стихов, вписанных разорванным, отчаянным почерком между коротких, сухих, словно уже и не важных сообщений о себе: жив, служу... Я читаю стихи этого незнакомого, взрослого человека с карточки, боясь понять до конца и наконец до конца понимая, что это его похоронили мы вчера на тесном подмосковном кладбище. И волчий тоскливый вой подкатывает к горлу, стоном вырывается сквозь зубы.

Ты, держащий на ладони этот мир... Что-то, чему нет названия, сжимает мое сердце и отпускает его, наполняя горьким спокойствием.

Ветер тербит углы листков. Я бережно кладу бумажный прямоугольник во внутренний карман. Солнце косо пробивает кроны – еще сентябрьское, греющее солнце. Сад звучит вокруг меня, оплетает шелестом и шуршанием, словно намекая на возможность какой-то иной жизни. Я провожу ладонью по рейкам сиденья – какое детское, забытое ощущение...

Сколько еще отпущено мне?

Я сижу на грязно-белой скамейке с прилепившимся к сиденью листком, впитываю в себя напоследок этот странный день, этот осенний час, взятый взаймы до весны и осторожно вынутый из моей жизни. «Дипломат» с рифмованным уродцем на продажу тактично лежит в полуметре от меня – словно не имеет ко мне никакого отношения. Еще восемь минут. Восемь минут свободы. Я снимаю с запястья браслет, достаю из кармана расческу, отламываю от нее зубчик и нажимаю им на гнездо коррекции времени. Аккуратно перевожу часы и оставляю их на ладони, поглядывая, как подбираются цифры к черте, за которой продолжится моя жизнь.

